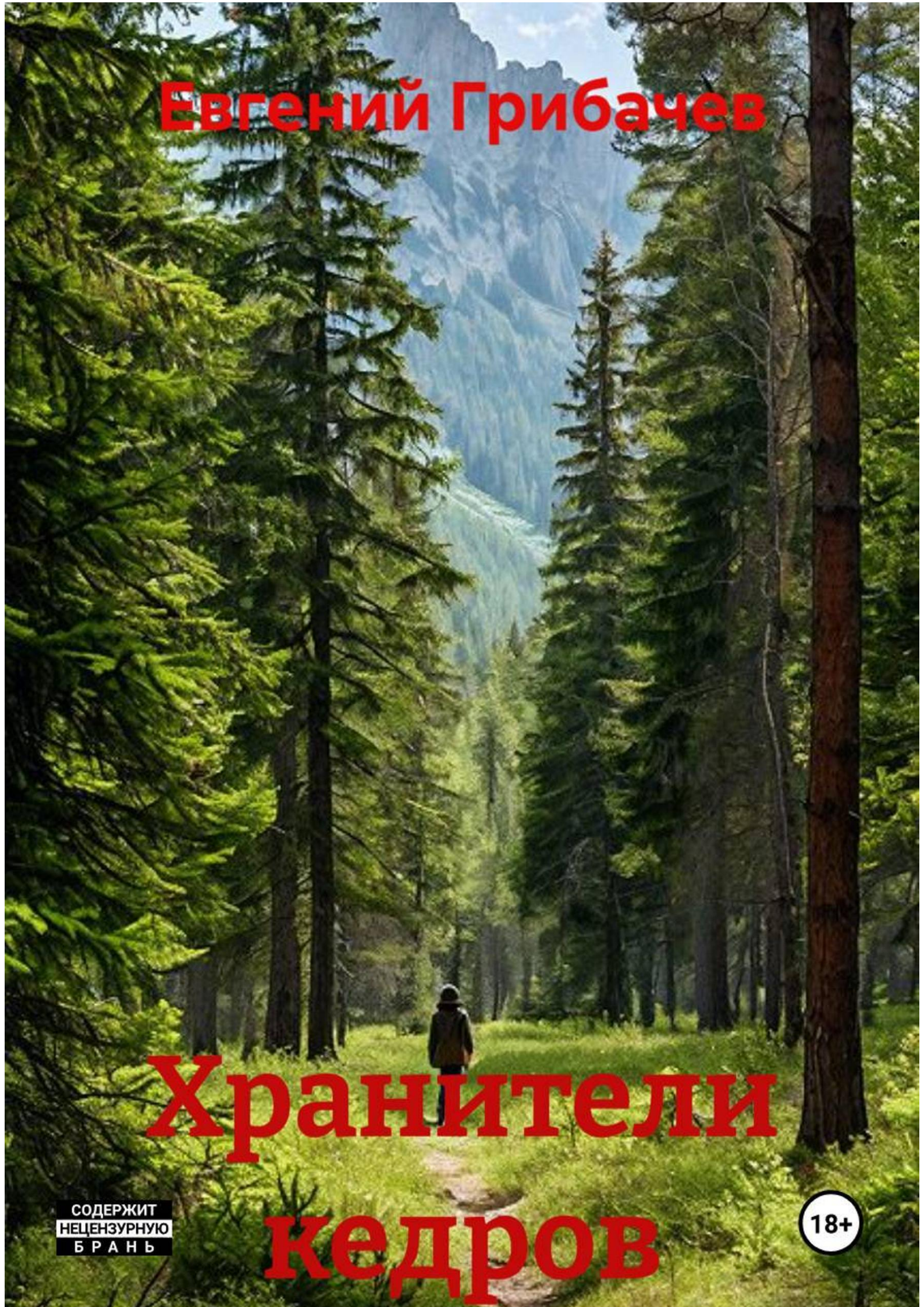


A full-page background image showing a lush green forest of tall evergreen trees. A narrow dirt path leads from the bottom center towards a distant, misty mountain range under a blue sky with light clouds. A small figure of a person is visible on the path in the distance.

Евгений Грибачев

**Хранители
кедров**

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Евгений Грибачев

Хранители кедров

«Автор»

2026

Грибачев Е.

Хранители кедров / Е. Грибачев — «Автор», 2026

Эта книга являет собой летопись временных лет, в которой главным героем являются не люди, а кедровая роща. Россыпь могучих и вековых кедров, которые проживают свою жизнь в непривычном и неведомом для человека восприятии течения времени. Они являются безмолвными свидетелями того, что люди называют историей. У кедров, как и у людей, так же есть свои собственные эмоции и ощущения. Чаще всего они равнодушны к людской суете, как человек равнодушен к муравью, который тащит куда-то щепку или травинку, но иногда выступают в роли судей и палачей. Тайга никогда не ошибается, она не знает сомнений, и не мучается с выбором. Она просто есть как время, как пространство, как сама мысль о вечности, облеченная в плоть смолы, коры и хвои. Человек же, напротив, соткан из ошибок, он спотыкается на ровном месте, падает в пропасти собственных страстей, восстает из пепла иллюзий и снова падает, ибо такова его природа. Вечно искать, вечно ошибаться, вечно надеяться.

© Грибачев Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	5
Глава 1	6
Глава 2	19
Глава 3	37
Гл	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Евгений Грибачев

Хранители кедров

От автора

Эта книга являет собой летопись временных лет, в которой главным героем являются не люди, а кедровая роща. Россыпь могучих и вековых кедров, которые проживают свою жизнь в непривычном и неведомом для человека восприятии течении времени. Они являются безмолвными свидетелями того, что люди называют историей. У кедров, как и у людей, так же есть свои собственные эмоции и ощущения. Чаще всего они равнодушны к людской суете, как человек равнодушен к муравью, который тащит куда-то щепку или травинку, но иногда выступают в роли судей и палачей. Автор, в моем лице, никогда не думал, что станет заниматься писательством, но желание и стремление к этому всегда имелось, и хранилось где-то в глубине, на задворках сознания с самого детства. И вот наконец этот импульс нашел выход в этом произведении. Я очень хотел бы посвятить эту книгу моим родителям, или любимой жене, или одному из моих замечательных сыновей, но увы, пока не могу этого сделать. Я уверен и убежден, что произведения из-под моего пера, которые будут посвящены им еще не написаны, они ждут своей очереди, и обязательно дождутся. А именно эту книгу я хотел бы посвятить моему лесу, моей тайге. Моему месту силы, от которого я уехал в силу объективных причин уже более десяти лет тому назад, и по которому в душе своей я безмерно скучаю, потому как не могу возвращаться туда с той периодичностью, с которой мне хотелось бы. О том, что моя тайга была для меня местом силы, я понял не сразу, а лишь спустя несколько лет. Я и не мог представить себе, как сильно мне будет ее не хватать, ведь оценить по достоинству мы можем что-либо лишь тогда, когда с нами этого больше нет. И я очень счастлив от того, что она есть до сих пор на том месте, где я ее и оставил, и периодически, пусть и не часто, но все же я имею возможность к ней возвращаться, обнуляясь там, и обновляясь. Города меняются очень быстро, спустя десять лет город Кемерово преобразился до неузнаваемости, и теперь, оказавшись там, я уже не могу сказать, что это мой город. Действительно когда-то был, но теперь уже нет. А вот выбираясь в лес, в мою тайгу, я вижу, что она остается прежней, такой же, какой я ее и запомнил. И я с удовольствием дышу ей, впитываю ее в себя каждой клеткой своего тела, наслаждаюсь ей в любое время года, и по-прежнему ласково называю ее: "Моя тайга".

Глава 1

Панкратова семья.

Томск, май 1619 года.

Когда Томь, вздущаяся от талых снегов, ревела, словно пробудившийся зверь, а тайга, скинув зимний саван, окуталась изумрудным дымом, от Томского острога отчалили девять дощаников. Сорок четыре служилых человека шли на годовку в Кузнецкий острог сменять тамошних казаков, что отмаяли свой срок и рвались домой, кто в Томск, кто в Тобольск, а кто и дальше в самое сердце Руси.

Иван Петрович Болоховец, командовавший отрядом, был стариком исколесившим пол-света, с лицом, изрезанным сабельными шрамами, словно карта забытых войн. Ходил в походы еще при Грозном, при Федоре на Северщине кровь лил, а теперь доживал век в сибирской глухомани, набирая людей для дальних острогов, как сеятель, бросающий зерна в каменистую почву, авось дадут урожай.

- Ну, робяты, - хрипло бросил он, когда последний дощаник, скрипя, отошел от причала.
- Прощай, Томск, увидимся через год, коли Господь не заберет.

На берегу суматоха медленно утихала, телеги разъезжались скрипя, развозя колесами дорожную грязь, стараясь попасть в накатанную колею. Бабы выли, махали платками, неистово крестились то сами, то отплывающих все дальше от берега мужиков. Дети бежали по мокрому песку, гомонили, улюлюкали. Псы, захлебываясь лаяли, сами не понимая для чего. Лаяли просто так, стараясь проявить себя добросовестными помощниками, и заработать тем самым себе на пропитание. На двух из девяти дощаников размещались лошади, и основная часть поклажи. Лошади настороженно фыркали и волновались, но были под надзором умелых конюхов, которые своевременно чесали им спины и подсовывали яблоки, чтобы те беспокоились не сильно. Плыть предстояло против течения, и лошадей вскоре впрягут, чтобы тянуть за собой дощаники на перевалах, где берег будет для этого пригоден. Но пока что гребли вручную.

На корме третьего дощаника правил веслом молодой казак Панкрат Налимов. Родом он был с Поволжья, из-под Саратова, откуда пол года тому назад, шестнадцатилетнего юнца, сгребли в государеву службу и швырнули в Сибирь, чтобы усмирять, воевать, строить, возводить, топтать земли, которым, казалось, нет ни конца, ни края. Государственность прорубала себе путь на восток, словно топор сквозь вековую чашу, сквозь бурелом и болота. Отстраивались новые остроги, вот вслед за Томским встал недавно и Кузнецкий.

Он глядел на берег, пока Томск не растворился за изгибом реки и стеной леса. Когда смена подошла, он отложил весло, достал из-за пазухи берестяной туесок, открыл крышку и вынул белый платок, прижал его к губам и вдохнул до головокружения. Пахло лавандой, домом и сладостной негой, когда они еще не знали, что такое разлука. Рядом сидел рябой мужик, один глаз его смотрел в небо, другой в воду, и понять, куда именно он глядит, было невозможно.

- Любимая зашила? - спросил тот наконец.

Панкрат кивнул, не оборачиваясь.

- Настасья, невестушка моя. Ждать обещала.

- Ждать эт дело хорошее, - усмехнулся казак. - Ты, паря, и сам ее жди. Я вот тоже жду, уж как двенадцать лет. Матрена моя в Тотьме осталась, тоже платок дала.

Он хлопнул себя по груди, где под рубахой билось горячее сердце.

- Только в Тотьму мне так и не довелось вернуться. Государева служба она, знаешь, как болото. Раз шагнул, и уже не вытащить ногу. Федька Омелянов меня зовут, - представился он, протягивая мозолистую ладонь. - А тот, что рядом с тобой на весле, Еремей Степанов. Старый молчун.

Панкрат взглянул на соседа с веслом. Тот, услышав свое имя, важно зачмокал губами, так и не удостоив собеседников взглядом.

- А я Панкратка Налимов – ответил Панкрат рукопожатием, но говоривший, словно не обратив на это внимания, продолжал. Видно, что ему было очень важно показать молодому казаку, что он тут бывалый, и всех знает, и про каждого может что-то поведать:

- А вон те, на носу, - кивнул Федька, - Данилко Крюк, Митька Згибнев, Мишка Кобыляков и Путилко Кутьин. Народ веселый, только не пей с ними в долг, а то затянут в такие истории, что и черти тебя не вытащат.

Панкрат огляделся. Четыре десятка мужиков на девяти дощаниках. Кто-то спал, укрывшись волчьей шкурой, кто-то чистил пицаль, вытирая каждый винтик тряпицей. Четверо на носу уже разложили зернь на перевернутом коробе, звон монеток перекликался с плеском воды. Кто-то крестился, глядя на восток, где река тонула в молочной дымке. Всем им предстояло год нести службу в Кузнецком остроге: строить, пахать, рубить, укреплять. Что в душе у этих людей одному Богу ведомо. Кто по нужде сюда попал, а кто грех отмаливает. Честный казак мог сидеть плечом к плечу с душегубцем, и знать не ведать про то.

- А вон тот, с черной бородой, - шепнул Федька, - Кондрашко Березовской, и рядом с ним Дружинка Щедра. Удалые казаки, бывалые. Эти двоедесятники Болоховца, если что затеют - за ними все пойдут, как огонь за сухой травой. Прислушивайся к ним.

Панкрат запоминал лица. Их предстояло видеть каждый день, пока не сменит их другая весна.

День выдался солнечный и ветряный. Плыли медленно вверх по Томи, против течения, на веслах да на бечевах, когда конная упряжка, вгрызаясь копытами в мокрую землю, тянула дощаники с берега. Майское солнце, уже не ласковое, а по-сибирски ядреное, заливало реку таким светом, что вода казалась расплавленным оловом, лишь кое-где прорезаемая черными стрелками дощаников. Томь в мае вздувшаяся, рыжая от глины, стремящаяся вырваться из берегов, она с рыком терзала прибрежные ивы и несла на своих хребтах пожелтевшую пену, ветки и прошлогодний опад.

Тайга, стоящая по берегам, лихорадочно зеленела. Еще неделю назад голая, хмурая, как скитник на страстной неделе, сейчас она торопилась надеть свой пышный наряд с почти южной, кричащей торопливостью. От самых берегов лезла вверх молодая поросль, и все, что могло цвести и пахнуть, взорвалось одновременно. Воздух был густым словно старое вино, и пьянил смесью багульника, набухших почек и свежей, пробивающейся из-под прошлогодней хвои травы. Склоны сопки оделись в изумруд, на котором яркими, почти нестерпимыми для глаза пятнами желтели купальницы — «огоньки», сворачивалась тонкими коврами ива, и шел тутовник, покрывая кособокие молочной кисеей цветения. Тайга в мае похожа на юную девушку, которая вчера еще была тонконогой девчонкой, а сегодня вдруг тело ее налилось любовными соками.

А над всем этим великолепием дрожало майский марев. В воздухе стоял непрерывный, вязкий звон — это просыпались комары и мошкара, пока еще вялые, но злые и голодные, они вились столбами над водой, заставляя казаков щуриться и отмахиваться. От скал-«быков» эхом отлетала дробь дятла, перекликалась кукушка, а в глубине распадков, где еще лежали седые, заплаканные пятна снега, звенела капель, вливающаяся в шум взбесившейся Томи. Глядел Панкрат с дощаника на берег, а там, в переплетении ветвей, под солнцем брызжет соком береза, и чудится, что не по реке плывешь, а по зеленому, дикому океану, который только что проснулся и зарычал спросонья, радуясь теплу.

Когда солнце, багровое и тяжелое, начало тонуть за верхушками деревьев, сотник Иван Болоховец хрипло скомандовал: «К берегу!». Дощаники ткнулись носами в песчаную косу, и лагерь вырос мгновенно, как гриб после дождя. Костер на берегу Томи горел нехотя, сизыми языками лизал березовые плахи, шипел, плевался соком, выжимаемым из сырой древесины.

Отряд из сорока четырех казаков и дюжины лошадей встал на ночлег в излучине, где высокий яровой берег прикрывал от ветра, а река делала плавный, ленивый изгиб, будто женщина оголила шею перед сном.

Лагерь жил своей суевой жизнью, лошадей отвели в низину, к тальнику, там для них накидали прошлогоднего сена, торчащего из-под снежных застругов, и насыпали овса. Кобылы фыркали, били копытами в мокрую землю, высекая из черного грунта брызги, похожие на жирный бархат. Казаки расстегнули седельные сумки, сбросили свои мокрые зипуны сушиться на колья, воткнутые вокруг огня. Три костра горели в ряд, на первом варили кашу и грели воду для похлебки, на втором сушили мокрые вещи, третий для тепла и уюта, чтобы греться у животворного жара после перехода по ледяной воде.

Ели поздно, когда тьма уже окончательно навалилась на тайгу. Каша была густой, с кусками соленой свинины, которую запасли в Томске. Свинина плавала в котле жирными розоватыми островами, и каждый вылавливал себе по куску берестяными ложками наощупь, в свете тусклых бликов костра. Хлеб был еще свежий, только утром его запекли для похода, и на зубах он хрустел аппетитно, смягчая тягучую жирность похлебки. А после ужина казенная чарка, которую все ждали с большим нетерпением.

Казаки сидели кругом, по-семейному. Федька, сняв шапку и перекрестившись на восток, там, где в сгущающейся синеве угадывался дальний, еще не растаявший снег на вершинах, и доедал остатки из берестяной миски. Еремей жевал сухарь, задумчиво глядя в огонь и, казалось, видел в пляске искр не свое сиротское нынешнее житье, а далекие, забытые уже города вроде Ярославля или Вологды.

Лагерные хлопоты стихали, кони перестали бить копытами, затихли, засопели, и лишь один жеребец, гнедой с белым пятном на глазу, все всхрапывал, чуя за тальником зверя. Лось, должно быть, вышел из лесного чрева посмотреть на чужое пламя.

Вечерняя майская тайга была как женщина, лежащая навзничь в нестерпимом любовном изнеможении. Снег, до конца не стаявший в логах, лежал серыми пятнами, похожими на грязные простыни после долгой, изнуряющей страсти. Из-под корней вековых сосен сочилась вода, обнажая белые, бледные тела корневищ, переплетенных в судорожной схватке. Влажный, тяжелый воздух струился над проталинами, и в этих потоках мерещились незримые руки. Они тянулись к мужским горячим спинам, прохладные, настойчивые, срывали с плеч мокрую ткань, скользили по затылкам, заставляя волосы вставать дыбом.

Ветви пихт, низко опустившиеся к воде, казались распущенными, маслянистыми волосами. Где-то в ельнике гукала неясыть, и ей вторил другой звук, чавкающий и сосущий, будто размягченная весной земля начинала посасывать корни, камни, старые кости, смакуя их влажным ртом. Смола выступала на сломанных сучьях, янтарная, вязкая, пахнущая женским потом и медом, она застывала на коре медленными каплями.

Вставал плотный и молочный туман, ощутимый на коже как чья-то невидимая ласка. Он проникал под полы, под рубахи, под ремни, обволакивал каждое тело, сжимал, отпускал и снова сжимал. Неторопливо, со знанием дела, как умеет только весна, когда тайга скидывает зимнюю стыдливость и начинает дышать низом, всем своим разбухшим, налитым соком нутром.

Панкрат, принеся еще охапку хвороста, бросил их в общий свал, и сел рядом с Федькой. Тот протянул ему деревянную чашу с похлебкой, подвинулся, освобождая место.

- Ты, Федор, служивый с опытом! Бывал уже в Кузнецком?

- А тож не бывал? Знамо дело, бывал.

- И как там?

- Да, как и тут. Только в Томске уже все знакомо, где склад, где колодец, где баба сговорчивая. А Кузнецкий еще строится, там осваивать все нужно.

- А чаво к зазнобе своей не вернешься? Столько лет уж, только мечтаешь?

- К Матрешке-то? - Федька скосил свои глаза, и вновь было непонятно, в какую сторону он глядит. - Да ты, паря, еще не понял, куда попал! Матрена она так платочком у сердца и осталась, в долгой памяти, в далекой Тотье. А служба государева она как жернова, кто попал, того и перемелет. Я в Томске уж семь лет с Ольгой живу, детки малые имеются. Да и тебе советую, найди жинку местную, а Настасью свою в туесочке у сердца храни, коли любя так. Может на старости лет повидаетесь еще.

Панкрат уже слышал такие истории, но сердце их не принимало. Как же он без Насти? Год, ну два, ну три. А если служба так и дальше пойдет... Он уже думал, отрубит палец, или ногу сломит, или горячки напустит, вот и спишут за ненадобностью. Лишь бы домой, лишь бы к ней.

Вечерний костер высекал из темноты теплый островок света, где ужин уже подходил к концу. Кто-то молча дожевывал, размеренно работая челюстями, кто-то уже отставлял деревянную миску, обмениваясь неспешными, мирными словами с ближайшими соседями. Никто не повышал голоса и не разжигал градуса беседы, чтобы не тревожить тайгу, на которую уже спускались сумерки, тяжелые и бархатные, словно войлочная попона. Лес дышал ровно, глубоко, впитывая каждый посторонний звук, каждое движение, как губка, пьющая ночную росу. Опытные мужики знали повадки звериного края и всегда держали их в уме, словно неписанный устав походной жизни.

Панкрат не стал возвращаться к теме с Федькой. Вместо этого порылся в своем походном мешке, достал перевязанный мочалом туесок и, развязав узел, выудил пригоршню кедровых орешков. От казенной чарки кровь уже слегка согрелась, мысли стали вольнее, а тело тяжелее и наполнилось усталостью. Оставалось лишь ждать, когда старший отряда расставит караул и объявит отбой. Панкрат щелкал орех за орехом, аккуратно бросая скорлупу в пламя. Вкус у кедрача был густой, маслянистый, с легкой горчинкой хвои и сладковатым послевкусием лесной земли, будто сама тайга отдала здесь часть своей смоляной души, законсервированной в твердой скорлупе. Скорлупа, попадая в огонь, трещала и вспыхивала мелкими искрами, точно крошечные звезды, рожденные и сгоревшие в одно мгновение.

Панкрат увлекся своим лакомством и заворуженно следил, как пляшут в костре блики, поглощающие брошенную им скорлупу. И вдруг за спиной раздался низкий, утробный кашель, от которого Панкрат подскочил, словно ужаленный, и резко обернулся.

Кашлял Дружинка Щедра. Панкрат и не заметил, когда этот широкий и дюжий мужик поднялся из-за костра, куда-то отошел по своей нужде, а теперь бесшумно, как медведь, вышедший из чащи, неотвратимо встал прямо за ним. Дружинка раскуривал короткую глиняную трубку, набитую пряным китайским табаком. Прокашлявшись после нескольких глубоких затяжек, он спросил, не мигая:

- Как звать тебя, паря?

- Панкрат Налимов, - ответил тот, стараясь говорить важно, хотя внутри все мелко трепетало от того, что один из самых закаленных и влиятельных мужиков отряда удостоил вниманием его, молодого и зеленого паренька.

- Кедрач лугать любишь?

- Люблю, - растянул рот в смущенной ухмылке Панкрат.

- Угоститься дашь? - голос Дружинки прозвучал низко и негромко, но по воздуху, точно по воде от брошенного камня, пошли вибрации. Сидевшие вокруг притихли, приглушили разговоры и теперь смотрели на них исподтишка, затаив дыхание.

- Да милости прошу, - протянул Панкрат казаку туесок.

Дружинка зачерпнул полную горсть, перешагнул через толстую колоду, на которой сидели казаки. Федька тут же потеснился, Еремей сдвинулся, уступая место, и грузный казак тяжело, но ловко уселся у огня. Панкрат, не мешкая, примостился рядом. Сидели молча, давая бывалому казаку распробовать лакомство и набраться слов. Тот не спешил, затуманенный взор

был устремлен в пляшущее пламя, пальцы неторопливо шелкали орех за орехом. Дошелкав горсть, он по-хозяйски потянулся к туеску Панкрата, и юноше ничего не оставалось, как снова поднести лакомство. Дружинка одобрительно хмыкнул и протянул Панкрату свою трубку с кожаным кисетом.

- На вот, паря, затянись-ка.

- Да я не курю... - хотел было отказаться Панкрат, но мужики вокруг неодобрительно загудели, словно встревоженный улей. Федька своим косым глазом стрельнул в его сторону и утрированно стукнул кулаком по лбу: «Дурак, что ли? Старший такую честь оказывает, своим табаком потчует, а ты нос воротить смеешь? Не по чести это!»

Дружинка лишь слегка нахмурился, но руку с трубкой не убрал, будто не замечая возникшей суеты. Панкрат не стал долго томить и принял гостинец. Так и сидел он некоторое время, сжимая в потных ладонях кисет и трубку, не зная, как подступиться к этому незнакомому снаряду. Дружинка уже отвернулся, вновь погрузившись в свое занятие. Панкрат, словно щенок, впервые ощутивший на шее ошейник, неловко поворошил кожаный мешочек. Пальцы дрожали, табак пах жженой кожей, горькими травами и далекими дорогами. Он кое-как набил чубук, чиркнул огнем, поднес к губам. Огонь лизнул смесь, и она затлела, выпуская тяжелое, удушливое облако. Панкрат затянулся, и дым хлынул в легкие раскаленной кочергой, вывернул грудную клетку наизнанку, обжег горло, будто он проглотил пригоршню живых углей. Он закашлялся так, что глаза полезли на лоб, слезы брызнули градом, а тело скрючилось, словно под ударами невидимого молота. Тут же вокруг покатился громкий, раскатистый смех. Мужики хохотали, били ладонями по коленям, Федька утирал выступившие от смеха слезы рукавом, а Еремей качал головой, причитая:

- Эх, зеленъ пучеглазая!

Дружинка, тоже ухмыляясь, рьяно хлопнул Панкрата по спине, сбивая кашель, а тот сидел ни жив ни мертв, ловя ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Казак повысил голос, чтобы все сидящие у огня услышали:

- Зеленъ-то зеленъ, а поросль крепкая. Смотрите-ка, крепача дернул, и в себе остался, даже не поплыл! Ты сам от куда будешь, паря? - с последними словами он уже обращался непосредственно к Панкрату.

Юноша едва ли мог сейчас вымолвить хоть слово, но сделал над собой усилие и сипло выдал:

- С Поволжья!

- Крепкий сын могучей Волги, стало быть, - одобрительно кивнул Дружинка. - Кедрач, значит, любишь, Панкратка. Там у вас, на Волге-то, таких не растет?

Панкрат хотел рассказать, что кедровые орешки ему еще в детстве мать на рынке покупала, но те были сухие и пожухлые, словно прошлогодние листья, а здесь словно первой свежести, еще пахнущие смолой и лесным ветром. Но горло, обожженное дымом, пока отказывалось повиноваться, поэтому он лишь отрицательно помотал головой.

Дружинка говорил так, чтобы слышали все. Тембр его голоса был низок, размерен, вязок и тягуч, как хвойная смола. Люди у костра притихли, ловя каждое слово, боясь спугнуть повествование.

- Тут местные жители кедр за священное дерево почитают. В этих краях, приглядитесь, сосны да ели сплошь стеной стоят. Кедр-то они только у Томска нашего, да ближе к Кузнецкому еще начинаются. Мне шорец один рассказывал... повадились как-то наши промысловые кедрач валить, да древесину в Китай сплавлять. Мол, азиаты хорошо платят серебром за эту древесину. Артель свою сколотили. Пришел тогда к ним местный шаман и говорит:

- Не губите кедр, мужики. Дерево священное, вам тайга этого не забудет.

Ну, они само собой послали его куда подальше. А через месяц их хворь какая-то настигла, да притом всех разом. Животы поначалу крутило, кожа зудела, словно под ней муравьиные гнезда шевелились. А потом и вовсе по всему телу наросты бугриться стали.

Под кожей набухали они, росли да нарывали. Мужики крестятся, у Бога прощения просят: за что им, христианским душам, напасть такая? Дело свое уже оставили по причине немощности. А под кожей по всему телу наросты все больше набухают, да так, что люди уже и форму свою человеческую терять начали, превращаясь в бесформенные, корявые чурки. Пришел тогда вновь к ним шаман и говорит:

- Предупреждал я вас, мужики, кара вас настигнет, а вы меня не слушали. Вот вас тайга и наказала, за то, что вы сынов ее священных вырубали.

Раскаялись артельщики тогда, шамана о помощи просили. Ну, он провел им какой-то свой ритуал, с бубном плясал, окуривал их травами. Да только не помогло, померли все вскоре. Двадцать мужиков в один день душу Богу отдали. Но на этом еще не все! Погоревали тогда по ним родственники, да в землю закопали. А через время, на могилах их, хотите верьте, хотите нет - двадцать кедров молодых взошло. Так и растут там, по сей день. Да говорят, будто корни их из мертвецов и выплываются, будто тайга забрала свое обратно, переродив жадность в новую жизнь.

- Ох, брехня, - выдал Федор, сидящий по правую руку от Дружинки. И как-то громко это прозвучало в повисшей тишине, так что все услышали и замерли, ожидая ответа бывшего казака. Тишина легла над костром густая, давящая, только дрова весело потрескивали, давая искрам взлетать в черное небо. Федька заметно струхнул. Он явно не рассчитывал, что его слова эхом отзовутся в молчании. В глазах Дружинки промелькнул недобрый огонек, острый, как лезвие ножа, но тут же угас, погребенный под маской спокойствия. Он ответил обычным своим голосом:

- Я, Федор, и не утверждаю, что история эта правдива от начала до конца. Но, знаешь ли, и отрицать я не стану, что в темных лесах этих твориться может всякое. Вот ты, православный, в Бога веришь?

- А тож, конечно, православный, конечно, верю! - подобострастно замельтешил Федька, наскоро стал креститься, в душе радуясь, что избежал Дружинкиного гнева.

В этот момент подал голос чернобородый Кондрашко Березовский, друг и соратник Дружинки Щедры. Тот самый, про которого Федька еще днем говорил Панкрату, что они двое - сердце и стержень отряда. Сотник Болоховец не даром их, и еще с полудюжиной крепких, бывалых казаков в свои десятники определил, и совет держит с ними.

Кондрашко сказал, продолжая мысль своего товарища, и слова его падали в ночной воздух, тяжелые и неумолимые, как удары топора о сухое дерево:

- Нечисти тут много, робята. А Господь наш далеко, в центре Руси к молитвам православным прислушивается. И слышно Ему лучше тех, кто ближе к иконам в монастырях, где ладаном да елеем пахнет. А мы здесь, в буквальном смысле, у черта на куличках. Земли тут темные, леса дремучие, корни уходят в старую, языческую глубину. Вот Богу и не с руки наши мольбы тут расслышать, сквозь чащу и туман. Так что, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай, и тайгу не дразни.

Тут уже во весь свой рост поднялся Иван Болоховец - кряжистый, лобастый, точно старый развороченный дуб, и командным голосом распорядился:

- Так, полно, робята! Кондрашко, назначай караульных. Все остальные отбой, с рассветом снимаемся и трогаем дальше.

Казаки словно только этого и ждали. Услышав слово командира, сытые, грузные, обессиленные дорогой, стали устраиваться на валежнике, кто поправил зипун, кто привалился к седлу, кто вовсе свалился наземь поближе к костру, к живому теплу.

Кондратий, хитроватый и спокойный, назначил в караул четверых, тех самых азартных весельчаков, что от самого Томска не выпускали из мозолистых рук костяные зерни. Данилко Крюк, Митька Згибнев, Мишка Кобыляков и Путилко Кутын нехотя, с глухой обидой, разошлись по постам. Трое глядели во тьму, с трех сторон, откуда лес подступал стеной. Четвертый, Путилко, остался у углей костровым.

Лагерь затих не сразу. Сначала мужики побряхтели, прокашлялись, выругались спросонья, и вдруг, будто прорвало плотину, над рекой запел, загудел, зарос мужицкий хор храпа. Кто-то вскрикивал тонко, кто-то бормотал во сне, кто-то заскрежетал зубами, как голодный конь.

Ночь на Томи сырая и тягучая, пахнувшая талой водой и гнилой хвоей навалилась на становище тяжело и глухо, как медведь, что подминает под себя добычу. Угли большого костра в центре уже не пылали, а тлели умирающими красными глазами, и каждый выдох ветра то гасил их, то заставлял слабо вспыхнуть в последней судороге.

Кругом стояла такая темнота, к какой глаз привыкнуть не может вовсе. Она заползала под веки, просачивалась под кожу, холодила изнутри и норовила сгуститься в душе тяжелым, липким комом.

В левой части лагеря на посту сидел Данилко Крюк. Ему было зябко той особой, таежной зябкостью, когда не спасает ни овчина, ни пот засаленной рубахи. Ветер стих, Томь замерла, притаилась, даже рыба не плескалась. Тайга замерла, но тайга не спала: скрипы, вздохи, щелчки сухими сучьями, будто кто-то большой пробирается.

Прямо перед ним, в кустах тальника, кто-то тяжело и размеренно дышал. Дыхание было такое отчетливое, что Данилко невольно задержал свое собственное. Зверь ли? Нежить ли таежная, а может лешачья порода? Или хуже того - враг?

- Ну и ночь... - пробормотал он шепотом, а самого уже била мелкая дрожь. - Язви её в душу...

Он широко перекрестился, заскорузлими, дрожащими пальцами, и зашептал истово, сухими губами, проникаясь каждым словом: «Отче наш, Иже еси на небесех...»

Пищаль в свободной руке ходила ходуном. Холод пробрался под полушубок, облизывал ребра, добирался до самого сердца. И вдруг вздохи прекратились, точно их ножом отрезало. Ночь снова наполнилась далекими, безразличными звуками, будто и не было ничего рядом.

- Вот она, сила молитвы православной, - улыбнулся Данилко в усы, сам себе, и, поежившись, поднялся. - Сила, братцы, великая...

Он направился к костру. Продрог, как последняя собака, и в животе уже саднило от одной мысли о тепле и о чарке водки из заначки, что везли от Томского острога.

- Давай наливай, чего разомлел-то? - бросил Данилко с ходу, подходя к огню. - Небось хорошо тебе тут, тепло. Эко дел, сидеть да дрова подкидывать.

Путилко Кутын, сонный, как филин в полдень, полез под валежник, достал кожаный бурдюк, плеснул в чарку, и протянул не глядя:

- Ты давай не умничай. Грейся, и возвращайся на пост. А то увидят старшие, что ты у костра рассиживаешься, сам знаешь, из-за тебя и в следующую ночь всех нас поставят. А я, брат, дрыхнуть хочу вон так же, как все дрыхнут. У огня то, понял, в сон морит пуще вашего.

- Так сходи посиди сам на посту! - шепотом злобно прошипел Крюк и разом опрокинул чарку. - Я там страху натерпелся. Нечистый в кустах сидит!

- Ой, брось брехать, - лениво усмехнулся Путилко. - Натрусил полные портки. Там поди птица ночная, а ты себе черта намалевал.

- Вот те крест! - Данилко жарко перекрестился. - Истинно говорю, сидит кто-то большой. Птица так не дышит. Сходи сам, проверь! Меня только «Отче наш» спас, а иначе накинусь бы лешак.

- Мне не можно на твой пост, - Путилко зевнул с притворной важностью. - Меня Березовский истопником обозначил. Костер поддерживать, такая у меня задача. А тебе таковой не обозначали, видимо, доверия к тебе нет.

В этот момент к костру бесшумно, как тень, подвалил Мишка Кобыляков. Глаза бешеные, губы трясутся.

- Братцы, - зашептал он жарко, прямо им в лица, - там леший в кустах сидит! Слово даю! Ох, нечистые тут берега... Я «Отче наш» прочитал, так и возня сразу прекратилась. Путилка, дай согреться?

Путилко только ухмыльнулся криво, одним углом рта, но плеснул. Пока Мишка пил, Данилко вторил:

- Вот и я говорю - черт. А ты мне не веришь, собачья порода!

Истопник перестал ухмыляться, посмотрел тяжело и сказал отдельно:

- Ты давай на пост возвращайся, а то что-то много нас у костра. Обогрелся и будет. И загляни в кусты свои, может, не черт там, а враг сидит, а тебе в пору тревогу поднимать.

Данилко вздохнул, взял пицаль, пожегился в зипуне, и побрел прочь от огня во тьму, бормоча в усы:

- Умный такой... Сам сходи, проверь. А мне, видишь ли, делать нехера, только ходить, да нечисть по кустам искать.

Путилко и Мишка посидели молча. Угли осыпались белым пеплом. И тут к ним, спотыкаясь о корни, подошел третий, Митька Сгибнев. Он весь дрожал крупной, непритворной дрожью, и лицо у него было такое, будто он только что заглянул в могилу. Путилко, не дожидаясь ни слова, налил мутной водки в чарку. Митька выпил жадно, занюхал рукавом, сел у огня, протянул руки к ленивым, вялым языкам пламени.

- Там черт в ельнике сидит, - прошептал он голосом, не похожим на человеческий. Кутьин и Кобыляков вытаращились на него, а он продолжал, не глядя: - Дышит, как корова. И глазища на меня вылупил вот такие - Митька раздвинул веки большими и указательными пальцами обеих рук.

- Прямо-таки и смотрел на тебя? – усомнился Кутьин, а Мишка тут же поддержал товарища:

- А я тоже говорю, нечисть вокруг лагеря собралась. Я «Отче наш» наговорил, и притих тогда черт.

- И меня, братка, молитва спасла, - добавил Митька тихо, почти благоговейно. - Видишь, значит, и в дремучих лесах бог с нами, а не только в монастырях у икон.

Путилко сощурился:

- Что-то подозрительно, - сказал он негромко. - Под каждым кустом вы по черту караулите. А ну, Мишка, ступай на свой пост да проверь кусты. Мало ли засада? А вы тут суевериями отбредиваетесь.

Мишка нехотя поднялся, взял пицаль, перекрестился широко, глядя в ночное небо.

- Может, еще чарочку нальешь, для смелости? - попросил он.

- Ступай, - отмахнулся Путилко. - Согрелся и так, а смелости сам знаешь где искать, сыч.

Мишка вздохнул, ничего не ответил и зашагал в темноту тяжелой, усталой поступью. На посту он долго вглядывался в лес, прислушивался, но все было тихо. В кусты лезть не стал, вместо этого поднял с земли увесистую ветку и силой зашвырнул ее туда. Ветка ударилась о молодую поросль, и с шелестом отскочила. Никто не выпрыгнул и не выскочил, и не подал ни голоса, ни звука. «Примерещится в сумерках всякое, а фантазия еще и добавит». - подумал Мишка

Через время к костру снова подошел Данилко Крюк, и Митька Сгибнев отправился на свой пост. В ельнике он опять уловил движение, и вскинул пицаль, примеряясь. Мелькнула мысль: пальнуть туда, для остротки. Леший, черт, зверь - все едино, спокойнее будет. Но пере-

думал, и опустил оружие. Мужики засмеют, скажут мол кишка тонка проверить было, сразу палить кинулся, сон отряда попусту тревожить.

Кони иногда тревожно храпели, но они впервые в походе после долгого зимовья, чурались ночного леса, как непривычной беды. Караульные не придавали этому значения.

Еще несколько раз Данилко, Митька и Мишка подходили к костру погреться. Путилко подливал из бурдюка, и сам разомлел у огня, как медведь в берлоге. Заснуть не давали только товарищи, одинокие тени, сменявшие друг друга. А в самый темный час, какой бывает перед рассветом, когда и зверь, и птица, и вся тайга затихают в немом оцепенении, никто уже более не пришел.

Ночь накрыла своей тяжелой, мокрой шубой и замерла в ожидании. Караульные спали там, где их сморила усталость и хмельная слабость. Данилко Крюк сидел, приваливаясь спиной к корявой сосне, голова свесилась на грудь, пицаль выпала из разжатых пальцев. Митька Згибнев так и замер ничком на валежнике у ельника, обнимая ствол, как родную бабу. Мишка Кобыляков прикорнул на своем посту прямо у тропы, что вела от реки к становищу, сладко похрапывая.

Путилко Кутын еще боролся со сном у догорающего костра. Глаза слипались, голова клевала, но в мутной глубине сознания теплилась мысль о том, что надо поддерживать огонь. Он сунул в угли опрелую ветку, та занялась нехотя, чадно, осветила на миг грубые, незащищенные в своей усталости лица спящих казаков. А потом и Путилко свалился набок, прижав к груди бурдюк с остатками водки, и провалился в черную яму беспомощности.

Телеуты не выли, не кричали, не улюлюкали своими боевыми кличами. Они вышли из тальника бесшумно и медленно, как лисы заходят в курятник. Их было много, вдвое больше, чем казаков. Медные и железные бляхи на груди тускло блеснули в предрассветной мгле. Ножи, топоры, короткие кривые сабли — это все уже дышало чужой кровью.

Первый, кто умер, был Мишка Кобыляков. Он даже не проснулся. Телеутский воин навалился на него сзади, зажал рот широкой ладонью, а лезвием чиркнул по горлу, от уха до уха, легко, как по рыбьему брюху. Кровь хлынула на зипун, на сапоги, на прелую хвою, захлупала, задымилась парком на холоде. Мишка дернулся несколько раз, и затих.

Митька Згибнев спал чутче, то ли во сне уловил шорох, то ли ветер донес запах беды. Глаза распахнулись, рот открылся для крика, но телеутский нож вошел в шею сбоку, перерубив и голос, и дыхание. Митька захрипел, забился, хватаясь за лезвие голыми руками, порезал ладони в кровь, но крик так и застрял в перерезанном горле комком пузырящейся крови.

Данилко Крюк очнулся в самый последний миг. Он открыл глаза и увидел прямо перед собой черную фигуру с занесенным топором. Данилко успел шарахнуться в сторону, топор раскроил сосновую кору в верхушке от его уха. Крюк заверещал не своим голосом, вскочил, выставил перед собой пицаль! На выстрел не осталось времени, телеут оказался быстрее. Удар саблей пришелся по ключице, раскроил полушубок, мясо и кость. Данилко рухнул на колени, успев прошептать: «Отче наш...».

После одинокого крика Данилки, эффект неожиданности врага был испорчен, и телеуты как по команде единогласно завопили свои боевые кличи. Лагерь судорожно вздрогнул, густо, липко, тошнотворно запахло кровью и нечистотами. Кто-то из казаков обделался во сне от ужаса, запахло жженым порохом, кто-то все же пальнул наугад, и пуля ушла в молоко, сбив только хвою с сосны.

- Вставай! — дико кричал Еремей. - Режут!
- Спасайся, братцы! — завопил чей-то надрывный голос
- Оружие хватай! — этот голос принадлежал Ивану Болоховцу.

Но было уже поздно. Телеуты ворвались в становище с трех сторон, как смерч, как полая вода. Они рубили спящих, кололи лежачих, топтали тела, не разбирая, жив еще человек или уже нет. Казаки вскакивали в одном исподнем, хватались за пицали, за сабли, за что попало, но

враг был уже среди них, смешавшись с ними в одну кровавую кашу, где нельзя было выстрелить наверняка, не задев своего.

Еремей Степанов один из немногих, кто проснулся еще до начала резни. Он лежал с открытыми глазами и думал о своем далеком Ярославле, как вдруг услышал истошный крик часового. Он сразу все понял. Еремей закричал один из первых, но его крик растворился в телеутских воплях. Он резко поднялся, схватил свою пищаль, прицелился во тьму и выстрелил. Телеут в пяти шагах от него упал как подкошенный. Еремей бросил пищаль, взял топор, и тут же на него бросились еще двое, он убил первого ударом в темя. Топор с силой вошел по самую рукоятку. Второй уже практически обрушил на него свою саблю, но тот в последний момент успел перехватить врага за запястье. Он злобно зарычал в лицо врагу, показывая, что намерен сражаться не на жизнь, а на смерть. И смерть его тут же и настигла. Еще один телеут позади него метнул нож, и тот вошел Еремею под левую лопатку, пробив легкое. У казака подкосились ноги, и сила в руках тут же оставила его. Этим воспользовался враг, чью саблю он было перехватил мгновение тому назад, и высвободив руки, тот зарубил Еремея несколькими размашистыми ударами.

Федька Омелянов отрыл свои косые глаза от того, что на лицо ему упала чужая теплая кровь. Он растерялся, как и другие, но ему было даровано судьбой несколько мгновений благодаря тому, что враги резали и били его собратьев вблизи него. Он выхватил из-под головы короткую саблю, тяжелую, зазубренную, и рубанул телеута оказавшегося рядом с ним прямо в живот. Тот охнул, выронил нож, повалился, обхватив распоротую утробу, и стал пытаться засовывать обратно в нее собственные кишки, которые наполняли его ладони. Федька развернулся и увидел рядом с собой Панкратку. У него в руках была пищаль, и в тот самый момент он отражал дулом ружья удар сабли, которой рубил по нему враг. Следующим мгновением он направил дуло в лицо телеуту, и одновременно с этим машинально нажал на шептало, которое в свою очередь освободило курок, и тот ударил по огниву. Тут же раздался выстрел, и голову врага мотнуло назад, тело телеута выгнуло дугой, а потом он рухнул на землю бесформенным мешком. В голове у Федьки промелькнула мысль о том, что этот юнец хорош в бою. Дерется изобретательно и с остервенением, наравне с матерыми вояками. Он в два шага оказался рядом с ним, а Панкрат уже отбросил пищаль, и подобрал с земли бердыш. И вот они уже вдвоем на пару отражали новые атаки противника.

Лагерь неожиданно вспыхнул. Кто-то опрокинул костер, и огонь пополз по одежде, по трупам, по сухому валежнику, осветив жуткую картину: сотня тел вперемешку, живые и мертвые, казаки и телеуты, запах пороха и крови, сажа, кишки, раскроенные черепа, отрубленные пальцы, которые все еще сжимали рукояти сабель. Половины отряда уже не было. Те, кто выжил, бились в одиночку, без строя, без приказа.

Наконец в центре этой свары взревел медведем Иван Болоховец.

- Ко мне! - заорал он так, что на миг даже телеуты замешкались. - Ко мне, робяты! Становись! Десятники, ко мне!

Он был босоног, в одной рубахе, разодранной до пояса, с саблей в правой, и пистолем в левой руке. Лицо в чужой крови, глаза бешеные, взгляд пылает хищным огнем. Болоховец рубил, как дровосек не глядя, наотмашь, одним махом снося головы и руки. Телеуты шарахались от него, как от пожара.

Рядом, прикрывая спину, встал Кондрашко Березовский. Десятник успел надеть панцирь, взять добрую саблю и пищаль за спину. Он бил коротко, экономно, без лишних движений. Каждый удар неминуемо достигал своей цели: в горло, в глаз, в пах, в живот. Кондрашко был из тех, кто не паникует никогда. Даже сейчас, глядя, как гибнут его братья, он не кричал, не впадал в истерику, только рубил и отбивал натиск противника.

С другого бока подоспел грузный и жилистый Дружинка Щедра, в руках он держал пику, и точными ударами поражал врагов держа их на дистанции, не позволяя приблизиться на расстояние вытянутой руки.

- К реке! - командовал Болоховец, рубанув очередного врага от плеча до пояса. - Дощаник на воду! Живо!

Остатки отряда, около двенадцати человек, сплотившиеся вокруг своего воеводы, пробивались к берегу, где чернел на песке один дощаник. Остальные уже горели, и были в зоне недосягаемости.

Федька и Панкрат, в компании еще двоих уцелевших членов отряда, яростно отражавшие атаки на ряду с ними, увидели, как их командиры прорываются к берегу, и тут же поняли их задумку. Медлить было нельзя, нужно было прорываться к ним, и они направили все усилия на это. Сделать это оказалось нелегко, слишком много врагов было между ними, и единственным дощаником, на котором планировалось отступление.

- Толкай! - кричал Березовский, и казаки, забыв о ранениях и страхе, налегли на тяжелое днище.

Дощаник закрипел, застонал, пополз по гальке к воде. Телеуты увидели, что добыча уходит, но многие из них еще добивали раненых в стане лагеря, другие уже опьяненные разгромной победой, занялись грабежом и сбором добра, что лежало у них под ногами. Болоховец выстрелил из пистоля в упор, и убил очередного врага, пытавшегося встать на их пути к отступлению. Дружинка Щедра, подобрав левой рукой с земли бесхозную саблю, правой метнул в толпу свою пику, и пронзил еще одного. Кондрашко, прикрывая отход, рубился с тремя сразу и успевал не только отбиваться, но и подсекать врагам ноги.

Последним в отчаливающий дощаник прыгнул сам Болоховец. Он уже стоял на корме, когда разглядел на берегу, в рассветной дымке еще троих своих казаков. Это был Федька Омольянов, Панкрат Налимов, и еще один из двоих уцелевших казаков, которые завязли в сваре, и так и не смогли прорваться к берегу.

- Братцы! Не бросайте! Погодите! – срывая горло орал Федька, увидев, что дощаник уже отчаливает от берега, и поворачивается по течению.

И в этот момент в лагерь въехали еще с десятков конных, не утомленных битвой телеутов. Они увидели отплывающих, тут же спешили, и вложили стрелы в свои луки. Несколько залпов не принесли результата. Стрелы провожали уплывающих, не нанося им больше урона, но и не давая дожидаться уцелевших на берегу. Болоховец и остальные угрюмо смотрели на берег из-под навеса. Молодой Панкрат и косой Федька бились из последних сил. Они остались только вдвоем. Дыханье сбилось, руки уже не поднимались, а окружившие их враги не спешили бить их на поражение. Они задорно о чем-то переговаривались, наверное, размышляли о том, как бы взять этих двоих в плен. Но неожиданно один из вновь прибывших лучников громогласно отдал какую-то команду на своем гортанном наречии, и окружившие их войны отступили назад.

- В плен будут брать? – с надеждой спросил у Федьки Панкрат.

Ответом на его вопрос стали стрелы, которые лучники вложили в тетиву, и направили их по направлению к ним. Федька обессиленно бросил саблю на землю, и упал на колени.

Молись Панкратка – устало проговорил он. – Казаку лучше смерть, чем пленение.

И сам он начал читать молитву дрожащими губами. А Панкрат так и не успел ни о чем подумать, кроме Насти. Неужели вот так все закончится неожиданно, и по-глупому? И он отчетливо вспомнил вкус ее губ на своих устах, а рука сама потянулась за белым платком под рубаху, но достать его он не успел. Лучники дали залп, и сразу три стрелы вонзились ему в грудь, а одна пробила горло. Федьку тоже изрешетило, но Панкрат уже этого не видел. Он наконец позволил себе упасть на землю, и дать отдохнуть от этого сражения. Вкус соленой

крови наполнял рот, смешиваясь со сладким воспоминанием поцелуя его далекой любимой, вперемешку с маслянистым вкусом кедрового ореха.

В тот год отряд казаков, идущих на смену к Кузнецкому острогу, был жестоко разбит и разграблен местными разбойниками телеутами, которые всячески отвергали государеву власть, и боролись с ней в этих краях, будучи под покровительством мощных союзников в лице джунгар, и Енисейских киргизов. Из сорока четырех хорошо вооруженных и подготовленных воинов в Томский острог вернулось лишь двенадцать человек, благодаря плохой бдительности часовых на посту. Иван Болоховец был отстранен от командования, а вот Кондрашко Березовский и Дружинка Щедра уже через месяц, в составе нового отряда, и под предводительством нового воеводы вновь отправились к Кузнецкому острогу, на этот раз успешно добравшись до него. Уже через год эти двое войдут в историю, и останутся в ней как зачинщики «Кузнецкого бунта».

А вот Панкрат Налимов не останется в летописи не единым упоминанием, но внесет в историю этой земли немало больший вклад, чем кто-либо еще из того отряда. Тогда, на том месте телеуты разграбили весь лагерь, и ушли с хорошей добычей. Им достались лошади и все припасы, которые были заготовлены для Кузнецкого острога. И никто из них не обратил внимания на Панкратовский мешочек с кедровыми орешками. Да и кому они были нужны, когда вокруг было столько всевозможного добра. Зато этим мешочком заинтересовались местные бурундуки и белки. Со временем они добрались до него, и стали растаскивать кедровые орехи в разные стороны, по своим норкам и укрытиям.

Ранее, до тех пор, в тех местах кедр практически не рос. И мало кто обращал внимание, спустя годы, когда другие казаки сплавлялись по Томи от Томского до Кузнецкого, и наоборот от Кузнецкого до Томского, что в этом месте пошла большая поросль молодого кедрача. В сибирской глухомани, где вековая тайга накинута на плечи сопки тяжелые шубы из елей, пих-тача и лиственницы, начинается история, невидимая глазу торопливого путника.

Маленький кедр — это не дерево, это затаенная сила земли. Его семя, по началу, лишь тугое маслянистое зернышко. Оно пробивает скорлупу, как стрела пробивает щит воина, и пускает белый, дрожащий корешок вглубь, в царство вечной мерзлоты и камня. А над землей его тонкий, беспомощный стебелек, несущий на макушке пучок иголок-семилеток, похожий на зеленую корону.

Годы текут смолой по стволу. Юный кедрач растет медленнее, чем его соседи березы и осины. Те шумно тянутся к свету, обгоняя его, хлопая листвой, шумя и суетясь. Они примеряют на себя роль леса, но это оказывается иллюзией. В тени лиственных захватчиков крепнет кедр, ему некуда спешить. Он набирает силу впрок, год за годом он гонит вверх янтарную смолу, наращивает кору, похожую на броню, распускает лапы-свечи с мягкой, темно-зеленой хвоей, собранной в пучки по пять штук, как пять пальцев, сжимающих воздух.

Пройдет полвека, шумные березы начнут валиться от старости и бурелома. А кедр подставит плечи прочистившемуся над ним небу. Его ствол станет могучим, в два обхвата. Корни, словно щупальца времени, сдвинут камни. И вот тогда, через шестьдесят, а то и через восемьдесят лет, свершится его цветение.

На концах ветвей зажгутся молочные шишки-малыши. Вся тайга затаит дыхание, в воздухе повиснет терпкий, пряный дух, запах настоящей зрелости. А через год, наполнившись маслянистыми ядрами, шишки упадут к подножию. И тишина взорвется возней белок, дробью дятлов и тяжелым шорохом медвежьих ступней.

Так взрастает многолетняя история, так взрастает кедровая роща. Не лес, а живой храм. В нем хвоя шепчет что-то вечное, стволы стоят, как колонны, подпирающие низкое таежное небо, а под ногами войлок из прошлогодних шишек и рыжего опада. Войдешь в такую рощу, и чувствуешь монолитность и неизбежность течения времени. Потому что кедр не просто растет.

Он хранит покой земли, и память о всех погибших тут православных душах в тот далекий 1619 год, а началом тому стало Панкратово семя.

Глава 2

Кедровый промысел

Томск, октябрь 1741 года

Осень в том году выдалась на редкость затяжная и ненастная. Город, раскинувшийся на высоком берегу Томи, казался серым и промокшим насквозь. С Воскресенской горы, где стояла деревянная крепость с четырьмя башнями по углам, открывался вид на низину, самую населенную часть города, где жались друг к другу избы посадских людей, дымили печки в домах и чадили кузницы. Речка Ушайка, мутная от дождей, с грохотом вертела колесо мельницы у подножия горы, и этот звук смешивался с редкими ударами колокола кафедрального собора, на колокольне которого старинные часы с боем отмеряли время от восхода до заката.

Московско-Иркутский тракт, будучи главной артерией города, в это время года раскис до невозможности. Морозы еще не ударили, а дожди шли практически постоянно и днем, и ночью, превращая все улочки и дороги в грязевое месиво. Обозы встали, и груженные, не сдвигались со своих мест. Томск, утративший к тому году былое военное значение пограничного острога, теперь жил торговлей. Купцы, не уехавшие в Иркутск и Тобольск, томились бездельем в своих лавках в Гостином дворе, целовали кресты на грамотах Сибирского приказа и убивали время в пересудах и сплетнях о делах государственных. О том, что в Петербурге с биронщиной наконец-то покончили, о том, что башкирцы продолжают шалить, да о новой Камчатской экспедиции академика Гмелина, что бывал проездом в Томске.

Воеводский двор, обнесенный частоколом из заостренных бревен, высился в самом сердце крепости, неподалеку от деревянного кафедрального собора. Воеводой в ту пору в Томске был Никита Иванович Миклашевский. Его назначили на комендантский пост императорским указом год тому назад, и он уже успел привыкнуть к сибирской вольнице и сибирским нравам. Дородный, с лицом, тронутым оспой, и тяжелым взглядом, он сидел в своей светлице, пахнувшей воском, прелыми грамотами и плесенной сыростью. На столе, накрытом зеленым сукном, лежала кипа сбитых в стопку документов: указы Сената, переписка с Красноярском, отписки о колодниках.

Именно в такую непогожую пору, когда весь город замирал под дождями в предзимнем оцепенении, в присутствии к Миклашевскому заглянул денщик, и сморкнувшись в рукав, доложил:

- Купчина из первой гильдии, Федор Шумилов, просит допуску, ваше бродие. Дело, говорит, у него к вам важное. - промолвил служивый, пряча нетрезвые глаза.

Федор Петрович Шумилов был в Томске фигурой известной и выделялся своим размахом. Старообрядческой веры, однако это ему не мешало торговать пушниной, держать кожанью, а главное, он имел нюх на казенный подряд, на чем, как известно, в Сибири настоящие капиталы и делались.

- Ну пригласи, раз пожаловал – недовольно проворчал Никита Иванович.

Вошел тот размашисто, стуча крепкими ичигами, в смуром кафтане с сафьяновыми заплатами на локтях, от него сразу повеяло пряным ароматом сандала, бадьяна и крепкого табака.

- Бью челом, батюшка Никита Иванович, - купец поклонился низко, коснувшись пальцами скрипучего пола.

- Здравствуй, Федор Петрович, с чем пожаловал? - воевода положил руки на стол, за которым сидел, тем самым показывая, что он готов выслушать гостя, но не готов приветствовать его рукопожатием, или предложить ему сесть напротив него. Много чести купчишке будет.

Федор Петрович подобрался, лицо его, обветренное и красное от сибирских ветров, лучилось приторной почтительностью:

- Вчера, наконец-то, прибыли мои обозы с Иркутска – начал он подобострастно говорить медовым голосом. – Сами знаете, какая сейчас распутица. На месяц почти задержались. А там были вещицы, между прочим, из Китая, которым, я подумал, самое место будет в воеводских чертогах.

С этими словами Шумилов в легком поклоне развернул расшитый шелком плат. В руке его лежал короткий, в две ладони нож. Рукоять и ножны были вырезаны из цельного куска белого нефрита. Камень в отсвете лампы на столе казался теплым и чуть маслянистым. Рукоять украшала искусная резьба - два дракона, чьи причудливые тела, покрытые мелкой чешуей, переплетались в замысловатом замершем танце. Глаза тварей были инкрустированы крошечными искрами чистого изумруда. Купец улыбнулся, увидев заинтригованный взгляд Миклашевского, и плавно потянул за рукоять одной рукой, придерживая ножны другой. Чуть скрежежнув, клинок вышел из ножен. Это была работа искусных оружейников Поднебесной Империи. Вороненая сталь имела странный матово-сизый отлив, вдоль обуха тянулась выложенная золотом арабская вязь, лезвие с оточенными гранями было острее бритвы.

Федор Петрович нежно положил кинжал в платке на стол, и подняв указательный палец вверх, прося тем самым немного терпения, развернулся и быстрыми шагами вышел из комнаты. Спустя мгновение он вновь зашел, а в руках у него был медный поднос с перламутровой инкрустацией, на котором стояло три предмета из темного, лакированного дерева. Самой малой была круглая шкатулка, плотно закрытая крышкой, на которой был нанесен неизвестный иероглиф. Рядом, в длинном узком флаконе, стояли тонкие щипцы, чтобы перекладывать тлеющие угли, не обжигая пальцев. Главной вещицей была курильница: маленькая, на трех ножках, похожая на древний жертвенный треножник. Сейчас она была холодна. Шумилов поставил поднос на стол рядом с кинжалом, одной рукой открыл крышку шкатулки, а другой взял из флакона щипцы. Он подцепил ими несколько смолянистых щеп цветом темного янтаря и аккуратно положил их на алтарь курильницы. «Чин-чжаньсян», - почтительно произнес он. - «Агаровое дерево». Федор Петрович взял со стола горящую свечу, и поднес ее пламя к курильнице. Она затрещала, взялась тлением, и тотчас же по горнице разлился густой, терпкий запах. В этом запахе слышались пряные ноты сандала, ладана и цветов. Прохладная свежесть камфары и густой маслянистый оттенок самой агаровой смолы - древесины, которая, будучи пораженной особой плесенью, становилась ценнее золота. Воевода чуть подался вперед и вдохнул этот дивный аромат, а купец вкрадчиво молвил: «Во всем Пекине, ваше благородие, нет лучшего средства для ума и бодрости. Говорят, сам богдыхан, когда устает от государственных дел, велит зажечь такую палочку. Голове легко, мыслям просторно, а душа к Богу возносится».

Никита Иванович Миклашевский был человеком суровым, и не привык показывать своего радушия от даров их дарителям. Но в душе он по достоинству оценил дорогие заморские подарки. Значит и дело у купца к нему не простое. Он резко дернул головой вправо и влево, от этого движения в шее дважды хрустнуло, и воевода кивком головы указал на свободный стул рядом со столом. Он проговорил располагающим тоном:

- Благодарствую тебе, Федор Петрович, за подношения столь необычные. – Он взял в руки кинжал, и стал вертеть его и так, и эдак, разглядывая детали. – Но думается мне, что подарками твоими разговор наш не заканчивается, а только начинается?

Шумилов был деловым человеком, а потому, пока все обстоятельства благоволили ему, жарко заговорил:

- Ваше благородие, верстах в тридцати вверх по Томи, у медвежьего изгиба, кедровая роща стоит. Пустошь дремучая, но земля то государева. Прошу твоего дозволения вырубку там устроить. Древесина добротная, ценная. Она и нашему государству пригодится, и Китайцы за нее хорошо платить готовы. Я весь промысел на себя возьму, сам все организую. А вам, как крест на лоб положу... – он истово перекрестился двуперстием, - десятую часть от всей выручки в вашу воеводскую казну, на государевы нужды.

- Десятую? - усмехнулся Миклашевский, огладив усы. - А щеки у тебя не заплывут?

- Грешен, кормилец, - развел руками купец заискивающе. - Мне, батюшка, тоже не воздухом сыту быть. У меня работники, барки, да и в Тобольск к губернатору с поклоном не с пустыми руками езжу. К тому же война, башкирцы шалят, Оренбург в осаде. Без моих барок с хлебом тамошним полкам туго придется.

Воевода крикнул и встал, прошелся к оконцу, за которым тоскливо мокли частоколы крепости. На башнях, видных отсюда, под мокрыми чехлами тускло блестели стволами чугунные пушки - память о былом военном значении Томска, ныне почти бесполезные.

Дождь смывал грязь с улиц в Ушайку. Лукавство купеческое воевода чуял нутром, но и нужду казны знал. Только прошлым годом через Томск каторжан на Красноярские заводы гнали, и денег в казне не было.

- А я слышал про ту рощу – неожиданно резко ответил комендант. Он посмотрел на Шумилова с прищуром: - От твоих вот соратников староверов и слышал. Говорят места там заповедные. Опять же, малые народы поселения там устроили, промыслом таежным живут, проблем не доставляют. Ясак платить научились, наши парни brave, сам знаешь, кого угодно научить смогут.

- Не умеешь – научим, не хочешь – заставим, – поддакнул Шумилов, и продолжил гнуть свою линию: - Да тут куда не плюнь, везде тайга заповедная, Ваше Благородие! Заповедник мы, знаете ли, где угодно обозначить можем, и документы нужные выправить. А православные поймут рано или поздно, дело то на пользу государства, а значит богоугодное.

- А с яуштами что делать ты собрался? Там у них поселение, говорю я тебе. Они под протекцией моей, ясак исправно платят. Что, вот так вот запросто взять, и подвинуть целое стойбище? – Никита Иванович испытующе глядел на Федора Петровича. Тот выдержал взгляд, и отвечал:

- А что им станется то, Ваша Благородь? Они ж кочевые, домов деревянных не строят. Снимутся со становища, да уйдут вверх по реке дальше.

- А их там киргизы енисейские щимят, от того они и на службу даже ко мне идут. – не прогибался воевода.

- Ваше Благородие – понизил голос Шумилов до доверительного басовитого шепота. - Нам о наших думать надо, Оренбургу помогать, сами знаете, казна не бездонная. А я предлагаю не десятую, а пятую часть с доходов. Как оно вам, а? Но с условием: в отписке указать надобно, что роща гнилая, буреломная, и чтоб печать приказная на том стояла.

В светлице повисла тишина. Только капало с крыши, да мышь скреблась за иконой Спаса. Воевода повернулся медленно.

- Пятую, говоришь? - переспросил он глухо. - И ты, Федор, на такое способен?

- Ради батюшки воеводы, и матушки нашей императрицы разве чего не сделаю? - Купец сложил руки на животе и замер в подобострастном поклоне.

Миклашевский подошел к столу, взял подаренный кинжал, глянул на него хмуро, потом положил обратно.

- Пиши челобитную, - сказал он, не глядя на купца. – И чтоб никто из местных не проведаль. Наймешь людей с Кузнецкого, не здешних. Набирай из «гулящих» или ссыльных. Шорцев и Телеутов не бери, сам знаешь как они к кедром относятся, потом только дров наломают. Рубить начнете, как снег выпадет. А деньги... деньги в приказную избу принесешь сполна. Серебром.

Федор Петрович еще раз поклонился, но уже коротко, по-свойски, и на лице его расцвела едва сдерживаемая радость.

- Слушаю и повинуюсь, кормилец. Быть по-твоему.

Когда дверь за купцом закрылась, воевода сел на лавку, тяжело вздохнул и уставился в окно. За ним, за крепостной стеной, мохла Сибирь. Где-то там, у Медвежьего изгиба, под

октябрьским дождем еще стояли вековые кедры, не ведая о топоре и воеводской печати, которая со скрипом ляжет на сургуч.

А по Томску тем временем звонили к вечерне. И в этом медном гуле слышалось что-то прощальное и неумолимое щемящее.

Тайга у Медвежьего изгиба, еще неделю назад горевшая золотом и багрянцем, теперь стояла серая, пропахшая прелью и мокрой хвоей. Дождь не прекращался уже несколько дней, мелкий, косой и холодный. Он уже давно не напоминал легкий летний ливень. Теперь он ввинчивался в землю с каким-то терпеливым упрямством, заставляя реку раздуться и мутить воду, а берега чавкать под ногой. Кедровая роща, где жило племя яуштов, шумела глухо и тревожно. Тяжелые лапы старых кедров поникли под тяжестью воды, и с каждой иголки то и дело срывались хрустальные, ледяные капли. Воздух был густым и звенящим. Где-то в вершинах деревьев проклокотала сойка жалобно, по-осеннему грустно и заунывно, а потом неожиданно оборвала свой клекот. Влажный холод забирался под одежду, под кожу, в самую глубь костей. Священный костер в центре стойбища дымил, чадил, отчаянно шипел, и старик Нытка все подбрасывал в него жирные щепки лиственницы, бормоча что-то на таежном языке.

Тын, восемнадцатилетний охотник с тонкими, еще не по-настоящему мужскими скулами, но уже жестким взглядом, с утра был на ногах. Отец его, старый Улчей, в компании с другими опытными охотниками и мужьями отправились за сохатым в тайгу. На зиму, как всегда, следовало запастись мясом и жиром. Тын должен был идти в этот раз с мужчинами, как и в прошлые года, но недавно повредил ногу, и теперь был хромым и шумным, и для охоты не годился. Пока охотники добывали пропитание на зиму, в становище оставались женщины, старики и дети. Они тоже готовились к холодам, кто как умел. Кто-то утеплял жилище, кто-то обрабатывал шкуры, а кто-то вялил рыбу. Тын сидел на корточках у своего очага, проверяя наконечники стрел. Кость скользила в мокрых пальцах, и юноша то и дело дул на них, растирал о мех, чтобы согреть. За спиной возилась молодая жена Чечек, которой едва минуло шестнадцать. Щекастая, светлолицая, с косой, уложенной в два обода вокруг головы, она не походила на хрупкую лесную девушку. В ней была ладная, крепкая сила хлебной лепешки, только вынутая из золы: горячей, вкусной, круглой и живой.

- Все убрала? - спросил Тын, не оборачиваясь.

- Все, - голос у нее был тихий, но твердый. - Юколу в берестяные короба сложила, в лабаз подняли с твоей матерью. Ореха четыре туеса, два туеса кореньев. Сушеная брусника вон висит, под самой крышей.

Она показала на потолочные жерди чума, где на веревках из жил качались пучки ягод и ломтики дикого лука. Внутри жилья пахло дымом, мокрой шкурой и почему-то тмином. Чечек бросила горсть в очаг, чтобы отогнать злых духов осенней хмари. Тын отложил стрелу и взглянул на нее. Жена выглядела уставшей, под глазами залегли тени, она почти не спала последние три ночи, потому что снизу, из-под сырой земли, не смотря на свежий валежник и лапник, поднимался такой холод, что приходилось вставать и подкидывать дрова. Да и рыбу, богатый улов в этом году, она резала до хруста в пальцах. Он смотрел на нее с нежностью и любовью.

- Зимой будем сыты, - сказал он коротко. - Главное, чтобы выюга рано не началась. Скорее бы охотники вернулись, да не с пустыми руками.

За пологом чума слышался тяжелый шлепок мокрой коры. Вошла Табан, мать Тына, низкая, с лицом в мелких морщинах, как береста после дождя. Она молча положила на циновку ворох нарезанных полос из лосиной шкуры на новые подвязки для лыж, да на обмотки.

- Кургиль, - сказала она. – Вот и снег пошел.

Она перевела взгляд на сына. Тот от чего-то не выдержал ее взора, и отвернулся чтобы поправить светец: кривую палку с зажженной щепой, что коптила и едва освещала чум. Чечек молча принялась скрести заячью шкуру острой костяной скребницей, сноровисто, с тихим упорным скрежетом.

Тын поднялся во весь рост. Чум был низок, и он почти касался макушкой дымового отверстия. Поправил пояс, взял лук, вложил стрелу в тетиву и вышел наружу, даже не накинув меховой кухлянки.

В лицо ударил снег. Так неожиданно дождь сменился белой россыпью, которая уже начала задерживаться своей чистотой в уключинах и логах. Над Томью висела низкая, белая муть. Река разлилась почти до самых кедров, и ее черная, злая вода с грязной пеной шла быстро, создавая невообразимый контраст с размеренностью и величественностью белого покрова на земле. На том берегу лес казался не настоящим, словно нарисованный угольком на сырой бересте, расплывчатые мазки, размытый низ, неясный верх. Тын задрал голову и вдохнул сырой воздух, а потом резко выдохнул. Он знал, почему мать на него так смотрит, но разве он виноват, что вывихнул свою ногу, когда слазил с кедра? Теперь он не смог пойти за охотниками, чтобы помогать племени добыть лося. Ему пришлось остаться в становище, наравне с женщинами и стариками, и делать их работу. Но он не хотел прикасаться к женскому труду. Молодость и строптивость не позволяла ему этого делать, и потому он раз за разом выходил из чума с луком и стрелами в руках, надеясь подстрелить косача или тетерку. Постояв немного, прислушиваясь, он вернулся в чум, и протянул руки к очагу. Чечек молча подвинулась, освобождая место у самого жаркого угля.

С того дня прошло еще три. Охотники так и не вернулись, зато на берег Медвежьего изгиба по снегу на лошадях вышло полторы дюжины мужиков. Артель, все больше ссыльные поляки, беглые с уральских заводов, двое солдат, сбежавших из острога после того, как были заключены туда за бунт. Среди них главным был Пахом Савельев, бывший дворовый, а ныне доверенный человек Шумилова. Росту невысокого, лицом бледен, как сыч, но цепок и хитер. Он артель собирал по кабакам и ночлежкам, обещая плату серебром и полный паек. И вот сейчас он шел впереди, оглядывая становище яуштов, которое дымило в полуверсте.

Становище было небольшое: полтора десятка чумов, крытых берестой и шкурами. Две собаки залаяли, потом замолкли, чуя недоброе. Старик Нытка, первым заведя нежданных гостей, издал гортанный звук, и ото всюду стали выбегать любопытные детишки. За ними медленно плелись старики и старухи. Женщины и молодые девушки, заведя пришедших, опасливо укрывались обратно в чумах.

Нытка вышел вперед, и заглядывая в глаза пришлым мужикам, спросил на ломанном русском:

- Зачем пришли?

- Отец, - сказал Пахом Савельев, стараясь придать голосу мягкости. - Кланяюсь тебе от купца Федора Петровича Шумилова. Земля сия ему по купчей отписана, печать губернская есть. Мы вам не враги, ежели уйдете с миром. Сворачивайтесь и идите вниз по Томи, до татарских юрт, там вас ваши же и примут.

Нытка молчал. Он смотрел не на Пахома, а на кедр. Черные великаны, они стояли в белых ризах, и смола на стволах замерзла прозрачными слезами.

- Это не наша земля, - наконец сказал старик. – И не ваша. Это земля кедра. Мы при нем тут живем, покажи ему свою печать, и спроси у него, можно ли его рубить?

Пахом вздохнул и потер ладонью небритый подбородок, он знал, что старика и всех остальных из его племени не переспорить, и ничего им не доказать. Все эти люди язычники, они живут верою в лесных духов, а если кто и принимал крещение, вступая в веру православную, то лишь для того, чтобы им жить дали русские, не вмешиваясь в их быт. Пахом спросил устало:

- Крещенные среди вас есть? Может кто крест православный на груди предъявить?

- Среди охотников есть, - уклончиво отвечал старик. – Но их тут нет сейчас, они за сохатым в тайгу ушли. А как мы без них сможем уйти отсюда? Тут у нас только немощные старухи, да дети. Мы ясак исправно платим вашему царю, и он обещал нам жизнь вольную. Никто не может нам указывать, где нам оставаться, и куда идти.

И тут из-за спины рядчика шагнул плюгавый мужичонка. Его звали Тихон Зуй, человек без возраста и без фамилии. Лицо его было страшным, шрам от правого виска до челюсти, над левым глазом старый ожог от клейма, усы обвислые, как у кота, глаза маленькие и масляные. И смотрел обычно таким взглядом, что становилось не по себе, и хотелось поскорее отвести взор от его глаз. Говорил шепеляво, зубов во рту не доставало:

- Э, Пахома, - сказал Зуй, и голос у него был тягучий, как патока. - Ты все по бозески? А кто тебя слушает? Этих инородцев залететь себе дорозе!

Он повернулся к мужикам. Те стояли, дыша паром в воротники, и в глазах у всех была усталость и злоба. Каждый из них уже получил задаток, и им теперь не хотел работать, устраивать тут собственный лагерь и быт, вырубать деревья...

- Глядите, православные, - продолжал Зуй, разводя руками. - Цюмы стоят теплые, дым идет, внутри бабы... Провизия сусоная на зердах висит, рыба, мясо. Нам тут строиться? Землянки копать? А зачем? Вот уже все готово! Хозяин нас, Сумилов, далеко сейчас в городе ция гоняет, а мы тут стыть будем. Нет, братцы.

Мужики зашевелились. Кто-то крикнул одобрительно, кто-то даже загудел.

- Да ты Бога побойся, Тихон! – повысил голос на него Пахом. – У них мужья и отцы скоро воротятся. Как ты думаешь, как себя поведет дюжина охотников, завидев как вы тут за хозяйство взялись?

Зуй усмехнулся. Усмешка у него была страшная, как будто топором щербину прорубили.

- Мужья? Эти дикари? Они не православные, знацит, по закону российскому все одно сто звери. Кто за них вступится? Соседний улус? Мозет воевода? Или барин Федор Петровись? - Зуй наклонился к Савельеву, дыхнул табаком и перегаром. - А езели который из них поднимет руку на русского целовека, такого не грех и в могилу приговорить. Топором или обухом, по затылку. Кто запишет? Кто разбираться будет, тем более если мы сами едино все сказывать будем.

Пахом понял, что ситуация становится крайне напряженной, и попытался напомнить, что он тут старший, и единственный представитель воли нанимателя.

- Зуй, оставь! - сказал он твердо. - Хозяин велел лес валить, а не баб портить. Ежели шум пойдет, нам голов не сносить.

- А кто сум поднимет? – Зуй распылялся все сильнее, и все время оглядывался на мужиков. - Ты, Пахома? Ты пойдешь в город заловаться? На кого? На нас!? Так ты сам сюда людей привел. Мы от работы не отказываемся, в чем проблема то?

И мужики загудели громко и согласно. Потому что правда Зуя была простая: бери, пока можешь взять, ведь за это ничего не будет. А у кого берешь не важно, у православного ли, у язычника, или у самого черта из-за пазухи.

Пахом стоял, глядя на этот сброд, и понимал, что они для себя уже все решили. Переубедить заблудших людей ему не удастся, совести у этих ссыльных ни на грамм, и вот глаза у мужиков уже суетливо бегают по сторонам, предвкушая грабеж и насилие. Зуй воспользовался этим замешательством рядчика, и победно грянул в заведенную толпу:

- Ну сто, музыки? Возьмем свое?

И они взяли.

Сначала тихо, будто стыдясь. Потом все громче и наглее, с хохотом и матом врывались в чумы и хватали женщин.

Тын вышел из чума сразу, как услышал чужую речь, а как только увидел, что в их стойбище пришли русские с топорами, тут же хромо вернулся обратно, и не вдаваясь в подробности, велел жене и матери быстро собираться и бежать. Взяли все самое необходимое, чтобы не околеть от холода и голода ближайшее время в лесу. Выбежав из жилища, они поняли, что два крепких чернобородых мужика бегут уже именно к ним. Они развернулись и бросились бежать в сторону леса, а те увязались за ними, и обязательно догнали бы. Но между ними вдруг вырос Тын. Он сноровисто вложил стрелу в лук, и натянул тетиву. Мужики на секунду замешкались, и тут же побежали на молодого охотника, позабыв про удирающих женщин. Когда между ними оставалось не более пяти шагов, Тын выпустил стрелу в того, кто бежал первым. Стрела вонзилась ему в область сердца, но застряла в овчинном тулупе, и толстом слое одежды, не добравшись до тела. Мужики набросились на него, и стали бить руками, а когда яушт уже не мог удерживаться на ногах и упал, стали добивать ногами.

Стариков и детей согнали в ритуальный чум, который был самым большим и холодным, а всех молодых женщин незваные гости растащили по жилищам.

Пахом стоял в стороне, кусал губы и не вмешивался. Потому что слуга он был верный, но верность его кончалась там, где начинался страх перед толпой пьяных душегубов. Он понимал, что сейчас их лучше не трогать. И о работе никто даже слушать не будет. Федор Петрович, конечно, разозлится, когда узнает, что здесь произошло. Ну а что поделать? Он сам поставил задачу набрать работников из «гулящих» и ссыльных. А для них закон не писан. Сбились в стаю, выбрали вожака, самого гнусного и жестокого, иначе просто и быть не могло. Ладно, покуражатся мужики, и перестанут. Завтра с утра протрезвеют, и примутся за работу. А коли охотники вернуться, и захотят возмездия? Ну что же, пусть будет как будет, сами виноваты, в конце концов. «Эх, не избежать тогда кровопролития», - покачивая головой из стороны в сторону, думал про себя Пахом. За свою безопасность он не сильно переживал, у него под тулупом лежали за пазухой два пистоля. Да и женщин местных он не трогал, хотя на пистолы он рассчитывал больше, чем на свою непричастность.

За спиной кто-то засмеялся громко, по-звериному. Тихон Зуй вывалился из чума разгоряченный, пошатываясь, в одной рубаше, расстегнутой на груди.

- Пахома, - позвал он. - Иди грейся. Бабы горячие, дикие! А стариков завтра... не знаю, на реку, сто ли, выкинуть. Цего их кормить то?

Савельев вдруг понял, что его терпение, которое и так было на пределе, окончательно закончилось. Он быстрым движением достал пистоль, навел его в грудь Зую, и проговорил тяжелым голосом:

- Вы тут в конец-то не бурейте, православные! Завтра чуть как свет заря, работников поднимай, и сам как штык. Работать начинаем, и чтоб никаких смертоубийств, понял меня!?

Он сделал паузу, но Тихон Зуй только щерился, нагло глядя прямо в глаза своему рядчику. Пахом понял, что ответа не дожидается, и продолжил:

- Ты что делать теперь думаешь, ежели мужья и братья их вернутся в скором времени? Они же убивать вас придут, а не разговоры разговаривать!

Зуй ощерился еще сильнее, потом сплюнул себе под ноги, и проговорил своей надменной шепелявостью:

- Есе посмотрим, кто кого убивать будет! Ты сто думаес, мы телята тут беспомосьные, или зеребята наивные? Иди луцьсе отдыхай, Пахома, коли не собираеся пользоваться местным гостеприимством! – с этими словами Зуй вернулся обратно в жилище, из которого раздавался мужицкий гомон и хохот.

Савельев обнаружил пустой чум. Тот принадлежал сбежавшей Табан и Чечек, а также Тыну, который лежал сейчас избитый со всеми остальными пленниками. Пленники в своем же стане, однако рядчик ничего не знал о сбежавших, он устало разжег угли, и повалился на холодный пол.

А ночью выпал новый снег. Белый, пушистый, безжалостный. Он засыпал следы волокиты и борьбы, обрывки одежды и капли крови, и даже приглушал голоса в чумах, кричащих до хрипоты. Кедр стояли черными безмолвными свидетелями всему произошедшему. А снег все падал, белый, беззвучный и одинаковый для всех. Для кедров, для стариков и детей в общем чуме, для мужиков, которые пили и тешили свою плоть, и для тех, кто должен был вернуться с промысла со дня на день, не зная, что их прежнего дома уже нет.

Свет в тайге в конце октября короткий и скупой. Еще затемно мужики вставали, и чуть только начинал сереть первый свет, уже стояли у кедров. Артельщики свое дело знали и делали исправно. Первым делом обрубка сучьев. Кедр, в отличие от сосны, лапник держит низко, густо, в три яруса. Мужик лез на ствол, подвязавшись сыромятной петлей, и снизу вверх, как по лестнице, сбивал топором ветви. Смола была хоть и замерзшая, но все же липкая, и к вечеру одежда дубела как жечь.

После обрубки – «валка». Тут нужен был глазомер и таежная хитрость. Кедр дерево тяжелое, смолистое, при падении не трещит, как сосна, а падает глухо, с гулом, от которого земля вздрагивает на полверсты. Мужики затесывали ствол с двух сторон: сперва снизу делали «подруб» на четверть толщины, потом сверху - встречный пропили. Вгоняли сосновый клин, вбивали его кувалдой. Удар, и вот уже кедр кренится. Еще удар, и он идет, ломая молодую поросль, оставляя за собой вырванные корни и пылающую в воздухе земляную пыль. Падал кедр долго, со стоном, похожим на бычий рев.

Упавшее дерево тут же «лутошили» - сдирали кору. Кора шла на бересту для растопки, на лыко для обвязок. Оставался голый, бело-желтый, пахнущий молоком ствол. Его распиливали на бревна в четыре - пять сажень. Работали спешно, с остервенением... Ноги мерзли даже в пимах с войлочным чулком. Отогревались работой и водкой. За день артель валила до десяти стволов. Шумиловская норма была пятнадцать стволов, но Пахом Савельев никак не мог выжать из мужиков необходимую трудоспособность, так как силы свои они растрачивали вечерами на попойках и блуде.

Когда сумерки наваливались на тайгу синей, непроглядной тяжестью, мужики сбивались в чумы. Своих землянок они так и не построили, Тихон Зуй оказался прав, яуштовские жилища стояли крепко, крытые выдержанной берестой в три слоя, с очагами, выложенными речным камнем, и с дымалями, которые тянули тепло, не выпуская его наружу. «Язычники, а хитры, как бесы», - ворчали мужики, набиваясь внутрь, и было в этом ворчании что-то похожее на уважение.

Днем старики и дети вновь расходились по своим чумам. Их, по правде сказать, никто насильно не удерживал и не караулил. Они, как и женщины, были вольны уйти, куда и когда захотят. Но куда им было идти из собственного становища, оставив тут немощных стариков и малых детей?

На закате, как только низкое октябрьское солнце, похожее на бледную медную пластину, уползало за лиственничный гребень, стариков и детей вновь сгоняли в ритуальный чум. Самый старый, с обвисшим пологом и дырявой вершиной, из которой торчала почерневшая от времени жердь, увенчанная пучком высохшей травы.

Там, в этом чуме, сидел согбенный старик Нытка, с лицом изрезанным морщинами, и другие старики и старухи. И тогда они начинали петь гортанную песню тайги, похожее на плач раненой волчицы или на скрип старого кедра, которого ветер клонит к земле, но он не ломается, а только стонет и стонет. В этом же чуме лежал избитый Тын, который лишь изредка приходил в сознание, и старухи выхаживали его, как могли. Дети жались со всех сторон, словно слепые щенята, тыкались лицами в теплые тела, замирали, слушая песню и стоны молодого охотника.

А мужики тем временем уединялись с женщинами в облюбованных жилищах. Со всего становища набралось десять баб, одних брали силой, и те ломались, стискивали зубы, смотрели в потолок и считали удары собственного сердца. Другие, таких было большинство, покорялись молча с тупой животной покорностью, потому что знали, что мужья далеко, и не известно когда вернутся. А этих нечистых русских с их топорами и мутной водкой надо просто перетерпеть, как претерпевают любую беду, которую насылают злые духи.

Но Сыгык-дойля была не такой. Дородная, с сильными руками, привыкшими свежевать лося и месить глину для очага, с грудями тугими, как спелые ягоды, и с ногами, которые ни разу в жизни не подкашивались ни перед каким мужчиной, кроме ее собственного мужа.

Назар Митрофанов полез на нее тем вечером шумно дыша, мокрый от водочного пота. Она ждала, и когда он, полез целовать ее губы своим слюнявым ртом, она сделала резкое, короткое и выверенное движение рукой. Нож был маленький и острый, клинок вошел в горло Назара легко, словно в масло. Митрофанов сперва ничего не понял, только захлопал и захрипел, пытаясь сделать вдох, но воздух только свистел через прорезанное горло, смешиваясь с кровью. Горячая, липкая кровь полилась потоком на голые груди Сыгык-дойля, на ее живот, на скомканную шкуру под ней. Она вывернулась из-под умирающего тела легко, как кошка, и бросилась на двоих других, которые ждали своей очереди в углу. Но застать их врасплох не удалось. Один из них с размаху ударил ее обухом по голове, и она рухнула, еще живая, но уже не видящая.

Ее выволокли на улицу за ноги, Тихон Зуй вышел из чума не спеша. Он был раздосадован, но не смертью Назара. Назар был никто, расходный материал, таких еще десятков в любом томском кабаке наберется. Но смерть товарища нарушала порядок, а порядок в артели должен быть один, порядок должен быть Тихонский.

Он взял маленький плотницкий топор и склонился над еще теплым телом. Ударил раз, и она дернулась, ударил второй, и та затихла. И еще, а потом еще, уже не глядя, по инерции. А внутри у него что-то мокро и сладко закипело, и надо было это успокоить. Закончив, он бросил топор, вытер лицо все в черных брызгах, вперемешку с талым снегом и мрачно сказал: «В реку ее».

Сыгык-дойлю скинули в Томь. Туда, где уже начинал вставать ледок, где вода была черная и масляная. Тело не пошло ко дну, течение в сумерках забрало его с собой. А Старухи в ритуальном чуме завывали еще громче и жалобнее. Они ничего не видели, но откуда-то знали, что случилось что-то страшное и непоправимое.

Назара Митрофанова закопали в лесу следующим же утром. Без долгой панихиды вырыли яму в мерзлой земле, ковыряя ее ломом и матерясь. Спеленали тело в рогожу, перекрестились по нескольку раз, а Пахом прочитал «Отче наш». Земля не хотела принимать тело, мерзлыми комьями выплевывала обратно, но ее придавили ногами, утоптали, заставили поддаться. Поставили крест, но на этом беды артели только начинались.

Когда приступили к работе, свалили всего один кедр. Самый старей, в три обхвата, с расщеплённой молнией вершиной, которую в яштовском роду считали домом духа. Мужики затесали его с двух сторон, загнали клинья, и он пошел медленно, величаво и нехотя. А упал он прямо на Мирона Прутова. Похмельный Мирон зазевался, водка еще до конца не вышла из головы, и вот тяжеленный и смолянистый ствол, весом в добрую сотню пудов, придавил его к земле основательно и неотвратно. Лишь руки и ноги остались торчать в разные стороны, дергаясь нелепой мелкой дрожью, а потом и они затихли. Мужики стояли вокруг, смотрели, и никто не знал, что им делать. Попытались всеми силами отодвинуть ствол в сторону, да куда там, даже приподнять не смогли.

Работа не пошла в тот день. Опустив руки, они вернулись к чумам, развели общий костер посреди стойбища. Пили водку озлобленно и молча, женщин в этот раз никто не трогал. Настроения куражиться не было.

Рядчик Пахом Савельев долго и угрюмо смотрел на артельщиков из-под насупленных бровей, и наконец проговорил:

- Одни сплошные проблемы от того, что вы решили вот так, по-разбойничьи, вломиться в становище к язычникам. Работа не идет, двоих потеряли уже!

Тихон Зуй сидел у костра, грыз кедровые орехи и сплевывал скорлупу в огонь.

- Ты сказываешь, Пахома, - протянул он, шепелявя, - сто духи тайги тут взбеленились и нам расправу цинят?! Мы же не язычники тут собрались, сдобы поверить в эту чушь!

- Может, ты и православный, Тихон, - жарко возразил рядчик, и голос его зазвенел, как натянутая тетива. - Но уж точно не без греха! Как, собственно, и вся артель. И уж гораздо ты, конечно, спасителем прикрываться. А за какие такие деяния он спасать вас должен? Вы тут безбожничаете, и думаете, что управы на вас никакой? А может, это не духи языческие, а вполне себе обычный черт за вас взялся? Что ты на это скажешь?

Зуй не торопился с ответом. Он разжевал еще несколько орехов смакуя их вкус во рту. Потом посмотрел на Пахома в упор, и в глазах его, масляных и прищуренных, зажглось что-то похожее на презрение.

- Скажу, Пахома, сто самая заблудшая душа мозет на покаяние расситывать, - произнес он, выговаривая слова с нарочитой, почти праздничной отчетливостью. - А язычники эти, коли не кресеные, то и Богу до них дела нет. И пусть на помось зовут хоть лесэго, хоть черта рогатого, нам плевать. Мы русские, и с нами Господь Бог милостивый и всемогущий! А в тебе вера слаба, коли считаешь ты, сто позволит Он душам православным сгинуть тут!

Случилась неловкая пауза. Ветра в то утро совсем не было, и тайга молчала, лишь кедровые изредка тихонько поскрипывали. Мужики у костра переглядывались. Тут Митька Косой сновисто налил всем, кто сидел рядом, а другой, Лукьян Заморыш подхватил, и налил остальным. Они выпили, не чокаясь и крестясь, скорым словом помянув раба Божьего Назара и Мирона. «Царство небесное, земля пухом, прости Господи наши прегрешения». Зуй жевал не торопясь, смотрел на Пахома исподлобья. Тот ответил ему тяжело, с расстановкой, так же неотвратно, как камень летит, брошенный в пропасть:

- Ну ты, конечно, проныра и плут! Сам тут грешишь безбожно, а меня попрекаешь тем, что вера во мне слаба?! Молодец, ничего не скажешь. - Он помолчал, вздохнул всей грудью, точно собирался нырять в ледяную воду. - Да только плевать я хотел на твоё мнение! И на ваше тоже! – последняя фраза уже относилась ко всем артельщикам. - Мне нужно хозяину отчитываться, а вы треть от нужного объема не дорубаете. А сегодня вообще не работаете! Хороши работнички, нечего сказать!

Он попал в самую цель. Мужики притихли и присмирели, многие смотрели на огонь не поднимая глаз. Все понимали, что Шумилов платит за работу, а не за пустой треп. Впереди красовалась перспектива пустых карманов, голодного лета и поисков нового хозяина, который согласился бы взять на работу беглых да ссыльных.

Зуй чувствовал общее настроение, чуйка у него была что надо, тоньше топора, острее ножа. Он догрыз пригоршню орехов в своем кулаке, обвел мужиков своим масляным, липким взглядом и заговорил ободрительно, сладко, словно по-отечески:

- А сто мы-ы-ы? - протянул он, растягивая гласные, как струну. - Мы ни-и-сего, правда, музыки? Ну подумаёс, немного выпали из графиков. Так мы нагоним, непременно нагоним. Верно говорю, музыки?

Мужики словно только и ждали этих слов, и загудели одобрительно. Митька Косой даже привстал, готовый хоть сейчас бежать в тайгу с топором.

- Вот завтра же выйдем, и двойную норму выполним, — Зуй повернулся к Пахому, и улыбка его стала шире, маслянистее, почти ласковой. – А сегодня не гоже работать узе, Мироску помянуть надобно цесть по цести.

Пахом ничего не ответил, только покачал головой. А на следующий день налетела пурга. Она пришла резко белой стеной. Утром еще можно было различить очертания кедров, черные свечи на белой земле. А к полудню, когда мужики, пересилив вчерашнее похмелье, взялись за топоры и пилы, небо обрушилось. Низкие потоки ветра взметнул снег, который лежал всего неделю, и тот, еще рыхлый и непрочный, поднялся тучей, закрыл все на расстоянии вытянутой руки. А потом сверху ударил верховой поток снежной лавиной, и они скрестились. В тайге начался сущий ад, ветер выл, как сотня голодных волков, как десяток душ, не нашедших покоя. Он гнул кедры, и те скрипели, стонали и цеплялись корнями за мерзлую почву. Снег летел сверху вниз и снизу вверх, горизонтально и вертикально. Он сек лицо, забивал глаза, уши, рот, лез за пазуху, под рубаху и в сапоги. Воздух стал белым и плотным, как молоко. В двух шагах уже ничего не было видно, только белая, слепящая, беспощадная пустота.

К вечеру пурга не унялась, разыгралась еще пуще. Яушты знали, что в тайге пурга не устает, она словно бы живая, и может длиться день, два, три, неделю. И когда она завывает, лучше сидеть в чуме, молиться и не высовывать носа, потому что тот, кто выйдет в такую пургу, либо не вернется вовсе, либо вернется не тем, кем вышел.

И так продолжалось три дня и три ночи, метель не думала униматься. Она навалилась на тайгу всей своей белой, слепящей, нечеловеческой тяжестью. Солнце не показывалось, а только серое, мутное, выцветшее небо висело над головами. День смешался с ночью, ночь растворилась в дне. Время перестало быть временем, оно превратилось в тягучую, липкую, бесконечную ленту, которую тянули из чрева тайги невидимые руки. Мужики перестали даже пытаться считать часы. Они пили, запас водки, взятый Пахомом, быстро иссякал, но ему больше ничего не оставалось, как отдать мужикам всю водку. Он и сам пил в одиночестве в занятом им чуме, пережидая непогоду. Он говорил себе, что закончится пурга, закончится водка, и они вернутся к работе. А пока ничего не оставалось, кроме как ждать.

И они ждали, их осталось шестнадцать человек, считая самого рядчика Пахома Савельева. Остальные пятнадцать человек разбились по пятеркам, и отсиживались в самых удобных и больших жилищах. Пурга заметала становище, сначала пропали тропинки между чумами, потом самые низкие жилища исчезли под снегом по самые коньки, только дымки торчали

из сугробов, как последние признаки жизни в мертвом лесу. Затем начало заносить входы. Мужики отгребались лопатами, топорами, голыми руками, но снег валил и валил, будто сам Господь решил укрыть этот грешный стан от своих глаз, чтобы не видеть того, что творится внизу.

Тихон Зуй, Митька Косой, Лукьян Заморыш, да двое ссыльных поляков - Янек и Казимир, которых в артели звали просто «Янка» и «Казя», сидели в одном из чумов и играли в зернь. Кидали костяные кубики на выделанную шкуру, сплевывали сквозь зубы, матерились, иногда вставали, отходили к пологу, за которым жалась крепкая яушская женщина. Когда блуд заканчивался, та начинала кричать и изрыгать из себя проклятья на гортанном, змеином, полном шипения и воя таежном языке. Она выла и стенала в тон вьюге, и по началу это забавляло пьяных мужиков. Но вскоре ее вопли их утомили.

Тихон Зуй сидел на шкуре в углу, поджав под себя ноги, и смотрел в одну точку. На лице его, перечеркнутом шрамом, обожженном клеймом, изъеденном оспинами не было ни хмеля, ни усталости. Он мотнул головой, отгоняя дрему, и сказал: «Митька, проход замело, надо бы рассистить. Дров для оцяга принеси, и бабу в ритуальный цюм сведи, к остальным. Надоела она мне тут, воеет как псина голодная».

Митька Косой, кривой на левый глаз, с лицом, похожим на печеное яблоко и руками, которые всегда тряслись, даже когда он спал, встал и потянулся, хрустнул позвонками. Он зевнул, и бросил женщине звериную шкуру, чтобы она утеплилась перед выходом, а сам натянул тулуп, сунул ноги в пимы, подпоясался веревкой, и вывел женщину за порог. Хлопнула берестяная дверь, впустив на миг облако снежной пыли, холодного, колючего дыхания пурги.

Зуй не двигался. Только кривые пальцы, с обломанными ногтями, барабанили по колену. «Тук-тук-тук». Как дятел по мертвому дереву, как сердце по ребрам. Мужики уже не играли, им все опостылело, даже водка. Каждый сидел у очага и угрюмо дремал себе под нос, время шло, а Косой все не возвращался.

- Лукьян. - Сказал Зуй, не повышая голоса. - Глянь, цего Косой запропастился, сходи, проведай.

Лукьян Заморыш, маленький и жилистый, с мышинным лицом и жидкой бородачкой, замялся:

- Да чего его проведывать, неужто в трех кедрах заблудиться мог!? – попытался противиться он.

- Я сказал сходи. - Зуй поднял глаза. В них не было злобы, а лишь черная пустота, но такая глубокая, что Лукьян, не говоря больше ни слова, встал, оделся и вышел.

Хлопнула дверь вновь запустив холод на короткое мгновение. Янка и Казимир переглянулись. Казимир, старший, с помятым лицом, что-то тихо спросил по-польски у товарища, а тот ему ответил. Но Зуй не понял, да и не хотел понимать. Он сидел и слегка покачивался из стороны в сторону.

И вновь время, как смола, тянулось медленно и вязко. А может оно вообще уже давно стояло на месте. День смешался с ночью, солнце, если оно вообще еще существовало, напрочь забыло дорогу в эти края. Вместо дня была серая, мутная, выцветшая пелена, от которой болели глаза и кружилась голова. Вместо ночи черная, непроглядная тьма и пустота вокруг.

Очаг уже начинал угасать, но ни Митька Косой, ни Лукьян Заморыш с дровами так и не вернулись. Зуй уже было подумал про себя, не выйти ли ему самому, и разобраться в чем там дело, но в этот самый момент дверь открылась.

Сначала они увидели руку. Черную, заоченевшую, с обломанными ногтями. На мизинце ноготь висел как на нитке, как оторванный лепесток. Рука нащупала дверной проем, откинула полог, и в чум шагнул Назар Митрофанов. Тот самый Назар, которому Сыгык-Дойля перерезала горло четыре дня тому назад. Труп которого они закопали в мерзлой земле, и поставили крест на могилу.

Мужики обомлели. Воздух в чуме стал тяжелым, смрадным и липким как смола. Янка поперхнулся дымом и закашлялся. Он и Казимир медленно встали и перекрестившись замерли, не отрывая глаз от того, что стояло на пороге.

Назар был страшен. Не тем страшен, что мертв, мертвых они видали, а тем, что он был и мертв и жив одновременно. Дышал и смотрел, лицо его стало сизым, землистым, с фиолетовыми пятнами, как у утопленника, который пролежал в воде три недели. Глаза открытые и без радужки, один зрачок расплылся, как чернильная клякса на мокрой бумаге, а второй съехал в сторону, к виску, и смотрел оттуда, из-за угла, не на людей, а куда-то вглубь себя самого. Губы его, серые, потрескавшиеся, как сухая глина, были сложены в странную, неживую улыбку. Не добрую и не злую, а такую, которая бывает у старых икон, когда на них падает лампада под определенным углом.

Назар топорно кивнул головой в качестве приветствия, и мужики увидели его горло. Рана не затянулась, не почернела и не заледенела. Она зияла свежая, кровавая и влажная, как только что вырезанный кусок мяса. Сквозь нее была видна гортань, а ниже что-то темное, движущееся, пульсирующее, хотя что там может пульсировать в мертвеце? Все видели, каким он был закоченевшим, пальцы не гнулись, и шея не поворачивалась. Он сделал несколько шагов как кукла на веревочках.

- Н-назар... - выдавил из себя Янка голосом, которого сам не узнал. — Ты... ты ж...

- Мертвый, - закончил за него Назар. Голос его был шепотный, булькающий, с присвистом. Потому что часть звука выходила не через рот, а через дыру в горле. И когда он говорил, оттуда сочилась темная, густая, почти черная сукровица.

Казимир вдруг начал неистово читать молитву на своем родном польском языке, не переставая креститься. Янка, недолго думая, стал повторять за ним. Назар подошел ближе к очагу в центре чума, и неуклюже начал усаживаться, но заостенелые колени не хотели сгибаться, и он просто повалился на лапник позади себя. Взметнул пламя вверх, будто очаг испугался, потом опал, засинел, замерцал, как свеча на ветру. Янка и Казимир вжимались в стену и пробирались к дверному проему. Они были не трусами, кем угодно, только не трусами. Оба прошли каторгу, побег, медвежьи углы, ножевые драки в томских кабаках. Оба видели смерть не раз и не два, и сами ее носили при себе, в виде засапожного ножа и свинцового кистеня. Но то, что стояло перед ними, было не смертью. Это было чем-то по ту, неведомую сторону, чем-то, от чего нет защиты ни у топора, ни у креста, ни у матерного слова. Как только они оказались возле двери, так тут же, как были раздетые, выскочили в воющую белую муть, и исчезли в ней. Буд-то их и не было, лишь хлопнул полог и все. Только метель завывала погромче, будто обрадовалась новым гостям.

- Налей, - сказал Назар, повернувшись к Зую. Он наконец устроился возле очага. - Водки налей.

Зуй единственный, кто не двинулся с места. Он смотрел на мертвеца в упор, пальцы его перестали барабанить по колену, глаза хмельные и тяжелые сузились в щелки. Он сидел спокойно, не дрожал, и даже ни разу не перекрестился. Словно бы это был не первый оживший покойник, которого он видел в своей жизни. Тихон Зуй молча взял шкалик и налил себе и Назару. Тот неуклюжим движением поднес чарку к мертвенно бледным губам, и влил в себя жидкость. Водка залилась в рот, но тут же вытекала обратно через прорезанное горло темными струями, вперемишку с кровью и стекала по шее на тулуп.

Назар поставил кружку, вытер рот и горло рукавом и прохрипел:

- Хороша водка. Я уж и не думал, что мне вновь доведется выпить ее.

Зуй, не моргая смотрел на Назара, а Назар Митрофанов, которого они похоронили четыре дня назад, смотрел на него.

- Ты цего присол? – наконец спросил Зуй, и голос его осипший все же слегка дрогнул. - Мы тебя по-людски похоронили, и крест поставили, и помянули. Цего тебе еще?

- А что, — сказал Назар, и голос его булькнул в разрезанном горле, - в мерзлую землю, без попа, без отпевания, в рогоже драной? Это по-людски?

- А кто же виноват, сто ты с бабой не справился? – Зуй криво усмехнулся, шрамом к уху. – Раз ус так полуцилось, зачем было из могилы вставать?

Назар ничего не ответил, лишь продолжал смотреть на Зуя, прожигая его своим мертвым взглядом. Но Тихон смотрел в ответ не отводя глаз, не межевался и не трусил покойника. Сообразив, что ответа не последует, Тихон налил водки на этот раз себе и сразу же выпил, даже не сморщившись.

- Ну так сто, Назарка – сказал Зуи сразу после того, как выпил. – Зачем присол все-таки?

- За тобой, - буднично сказал Назар.

- За мнооой? – с наигранным удивлением растянул вопрос Тихон. Невидимым движением он нащупал рукоять топора под шкурой, на которой сидел. – А если я не пойду?

- Пойдешь – сказал покойник, и в этот момент полог откинулся снова. То, что вошло в чум, было некой пародией на человека. Это было то, что остается от человека, когда на него падает кедр весом в сотню пудов, а потом три дня лежит сверху, вдавливая тело в мерзлую землю, расплющивая, растекая, превращая в лепешку, в грязное, мокрое пятно.

Мирон Прутов толи вползал, толи втекал внутрь. Потому что человеческая форма давно покинула его. Он был не шире доски, расплющенный, как блин на сковородке, растянутый вширь на полсажени, с грудной клеткой, вдавленной внутрь так глубоко, что позвоночник вылез наружу белыми, чистенькими, страшно-нелепыми косточками. Лицо его, если это можно было назвать лицом, сплющилось в лепешку, но оба глаза уцелели, и осуждающе смотрели сейчас на Зуя.

- Тихон Зуи, - сказал расплюснутый рот, который находился где-то в районе левого плеча.

- А мы к тебе.

Как только он это сказал, Назар положил свою ладонь на плечо Тихону, и потянул его, вцепившись мертвой хваткой. Зуи тут же махнул топором, и одним ударом отсек руку мертвецу по самое запястье. Кисть его, сжатая в кулак, так и осталась висеть на плече, а Зуи сделал еще один замах, чтобы рассечь надвое голову Назару, который, казалось бы, вообще никак не отреагировал на потерю руки, но не успел. Рука Мирона, болтавшаяся под неестественным ракурсом, вдруг вцепилась в топор, и больше его уже не отпускала. Тихон Зуи много раз выбирался из неравных поединков пользуясь различными грязными приемами. Но в этот раз они его не спасли, потому что эти приемы на мертвецов не действовали. Они сгребли его, заломили, подмяли под себя, и как бы тот не извивался, как бы не противился и не визжал матом, они вынесли его из чума в пургу.

Пурга кончилась так же внезапно, как и началась. В три часа утра ветер еще выл, сотрясая берестяные стены чумов, кидая в лица пригоршни колючего, злого снега. А час спустя наступила тишина. Такая тишина, что было слышно, как тихо, мягко, с легким шелестом падают снежинки. И такая тишина, что где-то далеко-далеко, за сотню верст, лопнула от мороза сосна, и этот звук докатился до становища чистым звоном, как удар колокола. От этого звука Пахом проснулся в своей берлоге и его тут же одолел жестокий будун. Ему приснился странный сон, будто он идет по Томи, а лед под ним прозрачный, и подо льдом все, кого он знал. Все, кого он обидел, все, кто умер из-за него, и они смотрят на него снизу мутными, рыбьими глазами и шевелят губами без звука. Потом он долго еще не мог пошевелиться от головной боли, и лишь вслушивался, соображая, где он, и почему все стихло?

А потом взошло солнце. Оно выкатилось над тайгой низкое, оранжевое, похожее на раскаленную медную пластину, которую кто-то бросил на синее сукно небес. Снег блестел и переливался, такой белый, чистый и нетронутый. Такой светлый, что на него было больно смотреть. Казалось, вся земля накрыта свежей, только что сотканной простыней, и никто не ступал

по ней, и греха на ней нет, и смерти нет, и ничего, кроме этой ослепительной, первозданной белизны.

Пахом Савельев выбрался из своего чума как медведь из берлоги. Сугроб завалил вход, и он отгреб снег от входа и вылез наружу. Воздух был морозным, чистым и прозрачным, как стекло. Каждый вдох рвал легкие, и Пахом закашлялся, хватаясь за грудь.

Становище едва просматривалось, чумы торчали из сугробов как грибы-переростки. Одни по самую дымовую дыру, другие чуть повыше, но все основательно занесенные снегом. Только от ритуального чума, того самого, где держали стариков и детей, снег был разрыт. Женщины, старики и дети выползали медленно, как привидения. Они были страшны, лица почернели от дыма и голода, глаза ввалились, губы потрескались, одежда висела клочьями. Но они выходили, и первое, что они делали - вставали на колени в снег, повернувшись лицом к кедрам. Согбенный старик Нытка поднял руки к небу и затянул тихую, тягучую, полную скорби песню, такой, что даже Пахом, который не понимал ни слова, почувствовал, как ком подкатывает к горлу.

Затем они разошлись по становищу и принялись приводить его в порядок. Женщины отгребали снег от входов, старики собирали разбросанные пургой дрова, дети крутились под ногами и помогали кто как мог. Никто не плакал, никто не жаловался, они работали молча, слаженно, как муравьи, восстанавливающие разоренный муравейник. И в этой молчаливой работе было что-то такое, отчего Пахом почувствовал себя крайне паршиво. Он был молчаливым свидетелем и пассивным участником злых деяний, что сотворили тут мужики. Пришли в чужие дома, портили чужих баб, и хозяйничали, не имея на то никакого права.

Между тем из других чумов начинали вылезать мужики. Сначала по одному, осторожно озираясь, будто ждали подвоха, хмурые, нечесанные, с опухшими от перепоя лицами. Они щурились на солнце, кашляли, сплевывали в снег, переругивались. Степан Зарубин, здоровенный детина с багровым рубцом на лбу попытался было подойти к яуштам с привычной угрозой, но Пахом опередил его, и остановил одним тяжелым взглядом. Степан хотел было возразить, но не встретив поддержки среди остальных, тоже быстро умолк.

О лошадях вспомнили не сразу. Их держали в загоне, прикрытом с трех сторон лапником и берестой, не ахти какое укрытие, но для таежной зимы сойдет, если вовремя подкармливать и поить, но вовремя не получилось. Мужики, занятые собой, водкой, игрой в зернь да бабами, про лошадей просто забыли. Никто не вышел к ним с охапкой сена, никто не пробил отдушину, никто даже не вспомнил, что они есть, пока Пахом, прибывая в тяжелом похмелье, не хлопнул себя по лбу.

- Лошади! - крикнул он. - Господи, лошади же!

Он и еще несколько мужиков бросились к загону. Откапывали долго, тяжело, снег спрессовался в лед, приходилось рубить топорами. То, что они увидели, заставило самых бывалых отвести глаза. В загоне было шесть лошадей, три гнедые, две саврасые, одна вороная, вся в белых отметинах, красавица, любимица артели. Теперь они стояли, сбившись в кучу, прижавшись друг к другу в последней, отчаянной попытке согреться. Они стояли мертвые, застывшие, окоченевшие так, что сдвинуть их с места было невозможно. Вмерзшие в снег и друг в друга, образовав единую, чудовищную скульптуру из деформированных тел, заплетенных грив и остекленевших глаз.

Смерть пришла к ним не сразу. Пахом, который знал лошадей, прочитал их агонию как открытую книгу. Сначала они дрожали мелко и часто, сбиваясь все теснее, грея друг друга дыханием. Потом дрожь прекратилась и тело перестало бороться. Затем началось замерзание, ноги подкосились бы, но они не упали так как стояли слишком тесно, поддерживая друг друга. Последним умерла вороная. Она стояла в центре, самая молодая, самая сильная, и, судя по позе, пыталась лягаться. Копыта ее были выставлены вперед, будто она была невидимого врага.

Но врагом был мороз, который заполз в легкие, превратил кровь в лед и остановил сердце на полувздохе.

Глаза лошадей остались открытыми, и в них застыл такой же ужас, какой Пахом видел однажды на лице утопленника, которого вытащили из Томи весной. Не испуг даже, а недоумение! Как же так? Почему нас бросили? Почему про нас забыли? Мужики стояли вокруг загона, опустив головы, в основном молчали, кто-то тихо выругался и перекрестился.

- Это наш грех, - сказал Пахом. - Мы про них забыли, мы их предали.

- Они ж твари бессловесные, - попытался возразить все тот же Степан Зарубин. - Не люди, чего их жалеть, мясо и мясо!

- А ты человек? - Пахом повернулся к говорившему, и в глазах его было столько горечи, что тот отступил на шаг. - Ты, который баб насиловал, стариков в снег топтал, пока их припасы жрал? Водку пил, пока лошади мерзли? Ты человек?

Ответом ему было молчание, мужики межевались, и Степан, не ощущая поддержки, вновь не нашелся, что сказать. Пахом отошел от загона, чувствуя, как внутри поднимается тошнота. Без лошадей древесный промысел был невозможен, и теперь, на успешное продолжение всей этой затеи, надежды не было.

Кого-то из артельных явно не хватало. Пахом уже давно отметил, что Тихон Зуй не появился до сих пор, и не мутит настроение мужикам. Он велел пересчитаться. Мужики выстроились неровной шеренгой, зябко кутаясь в рваные тулупы. Пахом пошел вдоль строя, загибая пальцы. Четыре... восемь... десять. С ним самим - одиннадцать. А до начала пурги их оставалось шестнадцать человек.

- Не хватает пятерых, - сказал он, и голос его прозвучал глухо, как из могилы. - Митьки Косого, Лукьяна Заморыша, поляков Янки и Казимира... и Тихона Зуя.

Мужики переглянулись.

- Найти, - приказал Савельев. - Обыскать становище и все вокруг, найти живых или мёртвых.

Искали до полудня, обшарили каждый чум, каждый сугроб, каждый закуток. Кричали, но никто не отозвался. Только эхо гуляло по тайге, и небольшой ветер, поднявшийся к полудню, уносил голоса в белую, пустую даль. Митьку, Лукьяна, Янку и Казимира так и не нашли. Снег взял их, принял, спрятал в своих белых глубинах, и не собирался отдавать. Тайга умеет хранить тайны, а вот Тихона Зуя нашли.

На первый взгляд он сидел, облокотившись спиной на ствол большого кедра, но подойдя ближе стало ясно, что он был в буквальном смысле слова вмурован в ствол, врос в него. Стал частью дерева, как смола, как сук, как нарост. Первым его увидел Фрол Колесник, он обходил рощу с топором в руке, проваливаясь в сугробы по пояс, и вдруг замер. Топор выпал из рук и мягко провалился в снег.

- Па-пахом... - позвал он, и голос его сел, превратился в шепот. - Па-а-ахом – кричал он шепотом...

Пахом подбежал. И застыл.

Тихон Зуй сидел, и кедр вырос вокруг него, из-под него, сквозь него. Невозможно было разобрать, где кончается человек и начинается дерево. Кора обвила его тело, как удав, медленно и методично, вершок за вершком. Она обхватила его ноги, спеленала их в тугую, черную кокон, поднялась до пояса, сдавила грудь так, что ребра, наверное, треснули и срослись заново, уже с древесной плотью.

Руки Зуя были вытянуты вдоль туловища, и каждая рука до локтя ушла в ствол, будто кедр сам вытянул их из плеч и втянул в себя, как корни втягивают воду. Пальцы срослись в один сплошной, узловатый нарост, из которого торчали обломанные, почерневшие ногти. Вокруг кистей натекла прозрачная, янтарная смола, и в глубине ее плавали какие-то темные сгустки, похожие на свернувшуюся кровь.

Но самым страшным было лицо. Кора обвила его почти полностью, оставив свободными только глаза. Она напозла на лоб, обтянула скулы, затекла на щеки, скрыла нос и рот, оставив лишь две узкие прорези, из которых смотрели глаза Зуя. Живые, человеческие, полные такого ужаса, такой невыносимой, запредельной муки, что Пахом, вдруг понял, что он никогда не видел такого настоящего ужаса в глазах человека. Они моргали и смотрели на подоспевших мужиков, умоляя о помощи.

- Зуй, - прошептал Пахом, подходя ближе. - Тихон... ты живой?

Глаза моргнули. Один раз. Медленно, как у совы. И в них мелькнула то ли надежда, то ли отчаяние, то ли благодарность за то, что его нашли. Пахом попытался оторвать кору от лица Зуя. Ничего не вышло. Кора была твердой, как камень, и вросла в кожу так глубоко, что первая же попытка потянуть ее вызвала у Зуя беззвучный, конвульсивный спазм. Тело дернулось как от сильной боли, но не могло двинуться, потому что было приковано к стволу.

- Топором, - сказал кто-то сзади. - Надо топором!

- Ты что, сдурел? - Пахом обернулся. - Ты же его убьешь!

- Дак он и так, считай, мертвый. — ответил Фрол, отводя глаза.

Пахом попробовал ножом, нож скользнул по замерзшей коре, не оставив даже царапины. Он попробовал пилой, и та сразу же застряла, а Зуй снова забился в конвульсиях, и из-под коры, там, где скрывался рот, вырвался звук, не то крик, не то стон.

- Не можем мы тебе помочь - сказал Пахом мрачным голосом, опуская руки. - Не можем. Эта твоя кара за бесчинства свои, что ты тут учинял, и на что других подбивал, слышишь ты, православный?

Зуй смотрел на них глазами, полными ужаса. Моргал. Смотрел. Ждал. Пахом разгадал этот умоляющий взгляд, и обернувшись к мужикам, громко спросил:

- Ну что, мужики, есть среди вас сердобольные? Из этого странного плена мы Тихона вытащить не сможем, не навредив ему. И оставлять так живого человека не гоже. Может у кого рука поднимется топором пару раз тукнуть ему промеж глаз, чтоб не мучался?

Из глаз Зуя прыснули горячие слезинки, угрожая превратиться в маленькие льдинки и застыть на месте. Мужики переминались с ноги на ногу и переглядывались. Наконец Степан зарубин промолвил, глядя себе под ноги:

- Да чего грех-то на душу брать?

- От мороза смерть-то поприятнее будет, чем от топора-то. Просто уснет вскоре, и дело с концом. - Тут же поддержал его Фрол Колесник.

И мужики как бы невзначай стали отходить все дальше, кто боком, кто спиной, они удалялись от злосчастного кедра. Пахом стоял до последнего и глядел в глаза Зую, а тот умоляюще смотрел на него в ответ. Пахом думал сказать еще что-то напоследок, но слов так и не нашлось, и тогда он резко обернулся и пошел прочь, не обращая внимание на сдавленный крик из-под коры дерева.

Вечером того же дня Пахом собрал артель. Оставшиеся десять человек стояли в кругу, бледные, взъерошенные, с красными, воспаленными глазами. Никто не пил, водка еще оставалась, но почему-то ни у кого желания не было.

- Мужики, - сказал Пахом, и голос его звучал глухо, с надрывом. - Я вам вот что скажу. Место это проклято, Бог позабыл про него, или никогда и не знал. Здесь другие хозяева, бесы да демоны. Языческие духи, которые в деревьях живут. Мы думали, что мы сильнее, что топор и крест нас защитят. А они нас, как щенков, взяли и перекусали.

Мужики молчали и невпопад крестились, а кто-то тихо, еле слышно приговаривал: «Господь наш, помилуй нас».

- Уходим, - сказал Пахом. - Завтра же утром, налегке. Возьмем только самое нужное - провизию, топоры и одежду. Лошадей нет, так что пешком. До Томска два дня, если без отдыха, дойдем, многим из нас не впервой.

И вновь никто не возразил и не оспорил этого решения. Все тут навидались чертовщины, и Тихон Зуй был тому ярким примером. А потому все мечтали убраться отсюда поскорее, но никто не брал на себя смелость озвучить эти слова. А Пахом сказал за всех.

Яушты приводили становище в порядок, и по привычке стали все сбиваться на ночлег в ритуальный чум. На этот раз их женщин никто не трогал, мужики держались особняком. Они готовились и собирались выступить на рассвете. И вот, когда небо только начало розоветь на востоке, артель выступила. Одиннадцать грязных, оборванных и продрогших человек уходили налегке. Уходили быстро, оглядываясь, крестясь, сплевывая через плечо. Последним шел Пахом. У края роши он остановился, повернулся лицом к кедром и поклонился. Низко, в пояс, как кланяются иконам, или как просят прощения.

А вечером того же дня в становище вернулись охотники, десять мужчин, в сопровождении двух женщин. Они шли с восхода, усталые и продрогшие. За две недели они обошли верховья Томи, проверили все ловушки, перекрыли все затоки, но ничего. Лось ушел. В этом году тайга не поделилась мясом, и пришлось возвращаться с пустыми руками и в срочном порядке. Их нагнали Чечек и Табан, и рассказали, что в стойбище пришла беда в лице русских. Пришлось бросить всю охоту, и спешить на защиту собственных семей и своих домов. Они еще не знали, подходя к становищу, что кедром и тайга защитили себя сами, а русские ушли, оставив яуштам много конины на зимовку.

Глава 3

Незванный гость

Медвежий изгиб, август 1797 года

Старый Федор Петрович Шумилов, придя в себя после того, как его артель в 1741 году рассыпалась в пурге на горстку перепуганных насмерть мужиков, поступил как умный сибирский делец. Он не стал каяться и не стал мстить. Он вновь пошел на поклон к воеводе Миклашевскому и сказал примерно следующее:

- Земля та, ваше благородие, под вырубку не годна. Кедров там старые, гнилые и сухосмольные, а вот ореху тьма как много. Дозвольте мне переписать бумаги, чтобы я там не лес валил, а шишку бил. Государству польза, орех в казну пойдет, и за границу продавать будем. А вырубку запретить, так и лес целее будет, и мне прибыль.

Миклашевский, человек практичный и к тому же не чуждый коммерческого интереса, после того как Шумилов ссудил ему три тысячи на постройку нового дома в Томске, согласился. Бумаги переписали, в новой редакции значилось: «Купец, Шумилов Федор Петрович, получает во владение кедровую рощу при реке Томи, в урочище Медвежий Изгиб, для орехового промысла, без права порубки леса под страхом конфискации». Печать поставили новую, скрепили сургучом.

Федор Петрович так и не занялся орехом. Дела в Томске, кожевенный завод, соляные подряды - все это держало его в городе, а в тайгу он больше не совался, но землю ту завещал сыну. А сын, Петр Федорович, взялся за дело всерьез и основательно. Человек он был степенный, купеческой косточки, но с дворянским вывертом. Женился на обедневшей дворянке, детей крестил в богатых церквях, дом в Томске держал на европейский манер. Ореховый промысел на Медвеьем изгибе он поставил на широкую ногу. Построил амбары, сушильни, нанял лазаков из окрестных деревень, наладил поставки в Тобольск и на Ирбитскую ярмарку. Умер он в 1790 году, оставив имение уже своему сыну, внуку Федора Петровича.

Федор Петрович Шумилов младший тридцати четырех лет от роду, коллежский ассессор, потомственный дворянин и владелец «недвижимого имения при реке Томи с кедровым лесом и ореховым промыслом», жил в своей усадьбе с женой и двумя дочками уже на постоянной основе. В городе он бывал наездами. По делам, или на ярмарку, а то и в губернское присутствие, но душой он был здесь, на Медвеьем изгибе, где кедров шумели так, что казалось они говорят с тобой на языке, забытом людьми.

Усадьба стояла на высоком берегу, откуда Томь была видна на три версты в обе стороны. Река здесь делала широкую дугу, и кедровая роща спускалась к самой воде, черная, величавая, с лапами, опущенными к земле, точно деревянные великаны, присевшие отдохнуть перед долгой дорогой.

Был август, самое время сбора урожая, жара спала, но солнце еще держалось щедрое, золотое, похожее на поспевшую дыню. Воздух был прозрачен, как родниковая вода, и в нем пахло смолой, нагретой корой и той особенной, терпкой сладостью, какую имеет тайга на исходе лета.

Дом был рублен из крепкой, вечной лиственницы. Тесовая крыша с широкими свесами, чтобы снег не забивал окна и дождь не мочил стены. Крыльцо на точеных столбах, с резными перилами. Мастера выписывали из Тобольска, и тот обошелся не дешево, но стоил конечного результата. Глазу приятно, и душа радуется, когда поднимаешься по этим ступеням после долгого таежного перехода. Фасад смотрел на реку, окна большие, в шесть стекол, светлые, с белыми наличниками. Любимым занятием младшей дочки, восьмилетней Насти, было открывать по утрам резные ставни, крашенные охрой. Она выбегала на крыльцо босиком, по росе, и с визгом распахивала одну за другой, будто будила весь мир и внутри дома, и с наружи.

Внутри дом делился на две половины. Парадная зала имела высокий потолок, и зеленую изразцовую печь, с голландскими рисунками. На каждом изразце свой сюжет - то мельница, то охотник с ружьем, то корабль под парусами. Мебель красного дерева, привезенная из Москвы через всю Россию, стол на двенадцать персон, стулья с высокими спинками, горка с серебряными ложками и фарфоровыми чашками. В углу киот с иконами в серебряных окладах, перед ними теплится лампада, и свет ее, красноватый, трепещущий, смешивается с дневным, создавая в зале таинственную, благостную полумглу.

Вторая половина жилая, теплая и уютная. Небольшая гостиная с диваном, на котором любила читать жена, Анна Григорьевна, женщина тихая, с печальными глазами и тонкими, изящными пальцами. Спальня, где стояла огромная кровать под балдахином, детская комната на двоих, где стены были выкрашены в нежно-голубое, а над кроватями висели берестяные иконы.

Была еще библиотека на полтора ста книг, по тем временам богатство невиданное в этой глуши. Шумилов собирал ее всю жизнь: Ломоносов, Державин, Татищев, «Российская грамматика», путевые заметки путешественников по Сибири, французские романы в переводе — все это стояло на полках из кедра, пахнущих летам и смолой.

За домом стояли хозяйственные постройки. Баня по-черному, с низкой дверью, чтобы тепло не уходило. Амбар для орехов, рубленый, на высоких столбах, чтобы мыши не лезли. В округе говорили, что шумиловский амбар стоит на медвежьих костях, зарытых под углами, и никакой зверь к нему не приблизится. Далее сарай - сушильня, помещение с железными противнями, где орех калили над тлеющим огнем, придавая ему тот самый дымный, терпкий вкус, который отличал шумиловские поставки от всех прочих. Конюшня на шесть лошадей, с хорошими стойлами, чистая и светлая. И кедры, все те же кедры. Они стояли вокруг усадьбы, как стражи, как немые свидетели того, что люди давно забыли.

Жена Шумилова, Анна Григорьевна, урожденная Баркова, так же, как и его матушка, была из обедневших дворян. Они-то в Сибири встречались гораздо чаще, чем в европейской России. Ее отец, чиновник на соляных промыслах, промотал состояние на картах и оставил дочери в приданое только дряхлую няню, сундук с прохудившейся простыней, да привычку держать спину прямо даже в нищете. Шумилов взял ее по любви, что для новоиспеченного дворянина было выгодой, связать свои семейные узы с древней именитой фамилией, а также простым, человеческим счастьем.

Анна Григорьевна была хороша собой тою неяркой, вечерней красотой, которая открывается не сразу, а после долгого взгляда. Ее бледное лицо с тонкими чертами обрамляли русые волосы, всегда убранные в строгую прическу. Голубые глаза с легкой грустинкой смотрели на мир с той спокойной печалью, которая бывает у людей много читающих, и мало жалующихся. Она вела хозяйство, воспитывала дочерей, играла на старом, расстроенном клавесине, но еще годном для того, чтобы разучить пару французских песенок. И по ее томному, подвисяющему взгляду, всегда складывалось ощущение, будто бы она чего-то очень сильно ждет, но вот никак не дождется.

Дочерей у них было две. Старшая Катя, четырнадцати лет, была вылитым отцом. Та же упрямая складка губ, тот же взгляд исподлобья, когда она о чем-то думает. Высокая, тонкая, с длинными руками, которые она обычно не знала куда девать, и с копной рыжих волос, за которую домашняя горничная Дарья прозвала ее «цыганочкой». Катя любила тайгу, могла часами бродить по роще, собирать шишки, помогать мужикам на промысле. Она была смелой, почти дерзкой, и мать тайком вздыхала: «С таким характером замуж не возьмут». Но Шумилов только усмехался: «Наша порода, упрямая».

Младшая Настя, была полной противоположностью сестре. Восемилетняя, светловолосая, с круглым лицом и большими, удивленными глазами, она была похожа на ангела с лубка. Тихая, застенчивая, она больше всего на свете любила сидеть в библиотеке и рассматривать

картинки в «Естественной истории» Бюффона, которую отец выписал из Москвы. Ее любимым местом в усадьбе был старый кедр у тропы. Как-то раз она привела к нему за руку папеньку, и показала, какой причудливый был у него ствол. Кора срослась с корнями таким образом, что казалось будто человек сидел, облокотившейся спиной на ствол, да так и прирос к кедру. Федор Петрович подивился тогда богатой фантазии своей дочурки, а потом взглянул в глазницы человекоподобному стволу, и что-то заставило его тогда вздрогнуть, и на секунду волосы привстали дыбом на всем теле. Впрочем, непонятное ощущение тут же улетучилось.

Август был месяцем, когда усадьба оживала, наполняясь шумом, гамом и особенным, деловым духом, который бывает только на промысле. Орех поспевал, шишки наливались смолой, тяжелели, начинали буреть на солнце. Промысел кедрового ореха в Сибири в конце XVIII века был делом устроенным, обставленным правилами и традициями. Шумилов держал три десятка наемных работников - крестьян из ближних деревень, ссыльных, отбывших срок, и местных татар, для которых ореховый промысел был привычным делом. Платил он хорошо, опытный «лазак» получал до десяти рублей за сезон, что по тем временам было приличными деньгами.

Сборщики делились на «лазаков» - тех, кто лез на деревья, и «сборщиков», кто подбирал сбитые шишки на земле. Инструментов у них было немного: «лаз» - длинный шест до двух сажень, окованный железным наконечником, чтобы сбивать шишки; «кошки» - железные когти, которые надевались на ноги и помогали взбираться по гладкому стволу; «котти» - кожаные сумки через плечо для сбора упавших шишек.

Но главным орудием было мастерство. Взобраться на кедр не шутка, ствол прямой, голенастый, без сучьев на первые пять-шесть сажень. Лазак обхватывал его руками, прижимался грудью, втыкал кошки в кору и лез, ритмично, плавно, как белка. С высоты в десять сажень, когда под ногами одна только тонкая ветка, а внизу зеленая, глубокая и бесконечная тайга, он сбивал шишки шестом, стараясь не повредить молодые побеги.

Работа была опасной. Каждый год по Сибири ходили слухи: кто-то сорвался с кедра, кто-то расшибся насмерть, кого-то растерзал медведь. Поэтому перед началом сезона в усадьбе служили молебны. Из села Спасского приезжал старый священник, кропил святой водой и лазаков, и их снаряжение.

Когда шишки были сбиты, их ссыпали в большие холщовые мешки, «кули», которые на выюжных лошадях везли к усадьбе. Там начиналась вторая стадия - сушка и обмолот. Шишки высыпали на железные противни и ставили в сушильню, где под ними день и ночь горел тлеющий огонь. Жар был несильным, чтобы орех не подгорел, а только подсох и легче отходил от чешуи.

Затем шишки «молотили» - выбивали из них орех деревянными колотушками, провеивали на ветру, просеивали через решето. Орех калили второй раз в чугунных сковородах, чтобы он приобрел тот самый, фирменный шумиловский вкус. И наконец ссыпали в новые, чистые мешки из домотканого холста вышитой меткой «Ш.». В хороший год усадьба давала до двух тысяч пудов ореха, по тем временам состояние очень приличное.

Федора Шумилова в округе называли по-разному. Крестьяне говорили ему «барин», почтительно, с легкой опаской. Татары называли «кедровым хозяином», потому что умел он с лесом договариваться, а ссыльные, что работали на сборе урожая, за глаза звали его «праведником». Не потому, что святой, а потому, что платил честно и не бил. В Сибири, где иные помещики ссыльным и крепостным житья не давали, это уже считалось благодетельством.

Крепостных у Шумилова не было, в Сибири крепостное право не имело такой силы, как в европейской России. Земли много, людей мало, закрепощать некого, все кто работал на него были вольными. Государственные крестьяне, отходники с промыслов, ссыльные, отбывшие срок. Он платил им исправно, кормил с общего стола в сезон, лечил, когда болели, и даже помогал отстраиваться тем, кто решал осесть в тайге насовсем.

При усадьбе жили постоянные слуги - «дворня», как тогда говорили, хотя это слово в сибирском смысле означало скорее «домочадцы», чем «крепостные». Кухарка Марфа, круглая, румяная, с вечной улыбкой на лице, из ссыльных полячек, что вышла замуж за томского мещанина и осталась в Сибири навсегда. Старый кучер Ермолай, бывший ямщик, который помнил еще Ирбитскую ярмарку времен Екатерины и любил рассказывать, как возил «самого Григория Александровича Потемкина, князя Таврического». Молодая и расторопная горничная Дашка, с бойкими глазами и необъятными грудями.

Был даже «дядька» - отставной солдат Степан Ильич, которого Шумилов привез из Томска. Хромой, с выпоротой спиной и добрым, выцветшим взглядом, он присматривал за девочками, пока родители были заняты делами, и рассказывал им страшные сказки про леших и кикимор, в которых сам, кажется, верил больше, чем в Бога.

Во время промысла Шумилов сам выходил к работникам в простой рубахе, подпоясанной ремнем, с картузом на голове, и следил, чтобы дело шло без лихачества. Он знал каждого по имени, помнил, у кого жена родила, у кого изба сгорела, и при случае помогал то деньгами, то мукой, то просто добрым словом.

- В Сибири, - говаривал он за ужином, разливая чай из медного самовара, - нельзя жить, как в России. Там человека держит земля, а здесь - слово. Обманешь - убежит. Ударить - отомстить может. И правильно делает, тайга то, она всех равняет.

Жена его, Анна Григорьевна, вела хозяйство с той методичной, почти педантичной аккуратностью, которую она вынесла из своей дворянской бедности. Все в доме было на своих местах, ложки в серебряном подстаканнике, салфетки вышиты по схеме, запасы муки, крупы и солонины разложены по бочонкам и подписаны: «Крупа гречневая. Октябрь 1796», «Соль иркутская. Сентябрь 1796». Она пекла хлеб сама, заквашивала капусту, сушила грибы и ягоды на долгую зиму. И в каждом ее движении была та особая, молчаливая гордость человека, который умеет делать все своими руками и никого не просит о помощи.

Дочери помогали по хозяйству. Катя по амбарам, по конюшне с лошадьми, да с мужиками на промысле. Настя по дому, с матерью и с Марфой на кухне. Вечерами, когда солнце садилось в Томь и окрашивало реку в багрянец, они собирались в гостиной. Шумилов читал вслух Державина или Татищева. Анна Григорьевна играла на клавесине, что-то старинное, итальянское, что сама не понимала, но играла по нотам, выведенным давно ушедшей рукой. А за окнами мирно и убаюкивающе шумели кедровые. И казалось, что нет конца этому покою, этой тишине и жизни, размеренной и правильной, как круги по воде от брошенного камня.

Промысел шел своим чередом. Лазак с утра до вечера сбивали шишки, сборщики таскали кули к сушильне, Марфа с Дашкой калили орех на чугунных сковородах, и запах дымной сладости стоял над усадьбой такой, что кружилась голова и хотелось жить вечно. Шумилов, раскрасневшийся от трудов и августовского солнца, сам помогал грузить мешки на подводы, вдыхая тайгу полной грудью.

В тот обычный день, ничем не примечательный от других, на дороге показалась карета, запряженная четверкой, с гербом на дверце, который Федор Петрович сразу узнал - герб Томского городского магистрата. Не губернатор, не столичное начальство, но человек при власти.

Из кареты легко выпорхнул мужчина лет сорока, поджарый, с проседью в бакенбардах и тяжелым, цепким взглядом купца, дорвавшегося до чиновничьего мундира. Следом за ним молодой писарек с портфелем, набитым бумагами.

- Федор Петрович, дорогой! - гость шагнул на встречу хозяину с распростертыми объятиями. - А я к тебе по пути на объезд волостей, дай думаю, заеду. Не узнаешь? Алексей Григорьевич Карелин, заместитель головы городской думы. По купеческим делам мы с твоим покойным батюшкой не раз пересекались.

Алексей Григорьевич Карелин имя было знакомое. Томский купец, возвысившийся на золотых приисках и кожевенных заводах, а ныне правая рука городского головы. Человек, которого в городе побаивались, слишком цепкие пальцы, слишком долгая память.

Шумилов, скрыв невольное неудовольствие, пригласил гостя в дом. Анна Григорьевна, услышав шум, вышла в гостиную бледная, в сиреновом платье, с кружевным чепцом, держа спину так прямо, будто на нее надели корсет из стали.

Карелин, увидев ее, замер. Бумаги в его руке дрогнули.

- Анна... Григорьевна? - выдохнул он, и в голосе его пропала вся деловая уверенность, осталось что-то мальчишеское, почти испуганное. - Анна Баркова? Неужто не помните? Иркутская гимназия, вы на три класса младше учились, а мне с французским помогали!

Анна Григорьевна посмотрела на гостя долгим, изучающим взглядом, губы ее дрогнули не то в улыбке, не то в гримасе отвращения.

- Алексей Григорьевич, - сказала она тихо, почти беззвучно. - Вы ли это? Какими судьбами?

- Судьбами, судьбами, - забормотал Карелин, все еще не сводя с нее глаз. - Век бы не поверил, что встречу тут. Вы... вы замужем. Стало быть, за Шумиловым. И живете здесь, в глуши!

Шумилову тогда очень не понравилось, как этот чиновник пожирает взглядом его супругу, и тот факт, что они ранее были в знакомствах. Но делать было нечего, не каждый день в гости заезжает правая рука головы из управления, поэтому нужно было принять его в соответствии с чином.

- Не желаете ли на кедровый промысел взглянуть, а в доме пока все к обеду подготовят – ледяным тоном поинтересовался Федор Петрович. Карелин не сразу его услышал, бесстыдным и жадным взглядом продолжая оглядывать Анну Григорьевну, но потом спохватившись суетливо проговорил:

- Ах, конечно, извольте, извольте!

Спустя час уже сидели за столом. Сначала говорили о делах, о ценах на орех, о поставках в Ирбит, о новом губернаторе Кошелеве, который, говорят, крут, но справедлив. Дочери Катя и Настя присутствовали при трапезе, но молчали, опустив глаза, как учила мать. Катя только раз взглянула на гостя с детским любопытством, но он смотрел не на нее. Он смотрел на Анну Григорьевну, и то и дело сворачивал разговор на былые времена.

- А помните, - разгорячившись, Карелин уже сам не замечал, как говорил на высоких тонах, не подстать этикету. – Помните, как мы в гимназии ставили «Мизантропа» на французском? Вы, Анна Григорьевна, играли Селимену, я тогда еще подумал: другой такой Селимены не сыскать во всей Сибири. У вас даже голос был особенный, с хрипотцой, когда волнуетесь. И сейчас, я слышу, тот же.

- Пустое, Алексей Григорьевич, - Анна Григорьевна опустила глаза. - Было и сплыло. Я и по-французски то уже не говорю. В глуши-то с кем, с медведями разве что...

- А вы попробуйте, - настаивал он. - Помните, как учили меня ударению в латыни? «Amicus», - говорили вы строго, ударение на первый слог». А я все путал.

- Вы и сейчас путаете, - Анна Григорьевна позволила себе легкую, едва заметную улыбку.

Карелин рассмеялся громко, раскатисто, и Шумилову показалось, что смех этот звучит слишком по-хозяйски в его доме.

- А помните наш спор о Державине? - продолжал гость, не замечая, или не желая замечать нахмуренного лица хозяина. - Вы ведь и тогда были умнее меня на голову, хоть и младше на три класса.

«Три класса это много» - подумала про себя Анна Григорьевна, помешивая ложечкой чай. – «Особенно когда тебе четырнадцать, а ему семнадцать».

- Ах, как вы были хороши тогда, - не унимался Карелин, и в голосе его зазвучала неподдельная, почти мальчишеская тоска. - Помните? Синее платье, белый воротничок, коса до пояса. Вы шли по коридору, а все мальчишки замирали. А я... я вам записки писал. Вы их не читали, я знаю, но я писал.

- Читала, - вырвалось у Анны Григорьевны, и она тут же прикусила губу, будто сказала лишнее.

- Читали? - Карелин даже привстал из-за стола. - И ни разу не ответили?

- А что было отвечать? - она подняла на него глаза, и в них мелькнуло что-то давнее, почти забытое. - Вы были сын иркутского купца, я дочь разорившегося чиновника. Вам отец готовил невесту с приданым, а мне судьбу гувернантки или смиренной жены какого-нибудь... - она запнулась, взглянув на мужа, - какого-нибудь делового человека, который возьмет меня без денег, но за родословную.

Шумилов молчал. Он не знал, что его жена училась в одной гимназии с этим человеком. Не знал о записках, о синем платье, о спорах на французском. Он вдруг почувствовал себя чужим за собственным столом.

Катя, сидевшая рядом с сестрой, переводила любопытный взгляд с матери на гостя и обратно. Настя опустила глаза в тарелку и не поднимала. Даже Дашка, подававшая кушанья, замерла с подносом, забыв опустить его на стол.

- А помните, - вновь заговорил Карелин, и голос его стал тише, задушевнее, - как мы бегали на Ангару смотреть ледоход? Всех гимназистов строем водили, а вы отпросились под предлогом недуга, а я просто сбежал от своих. И мы стояли на берегу, а лед трещал, и вы сказали: «Вот так и жизнь трещит по швам, не заметишь, как пройдет». Я тогда не понимал, а теперь, кажется, понимаю.

Шумилов сжал край стола так, что побелели костяшки пальцев.

После обеда, когда дочерей отправили в детскую, а самовар унесли, Карелин отставил чашку и, обведя взглядом гостиную, произнес с нарочитой небрежностью:

- Федор Петрович, Анна Григорьевна... я бы попросил у вас приватной беседы. Без слуг, без лишних ушей, дело сие и для мужа, и для жены одинаково важное.

Шумилов нахмурился. Анна Григорьевна, стоявшая у клавесина, медленно опустила руки на клавиши не играя, а просто положила, словно бы ища опоры. Она переглянулась с мужем, тот кивнул.

Карелин положил на стол кожаный портфель, который привез с собой, и вынул из него несколько пожелтевших старых листов с выцветшими чернилами и печатями, которые уже почти стерлись, но еще угадывались.

- В архиве Томского магистрата, - начал он, понизив голос, - хранятся дела... как бы это сказать... неудобные, для некоторых семейств. Я, выполняя поручение городского головы, разбирал старые бумаги и наткнулся на одно любопытное дело. О вашем деде, Федор Петрович, и о воеводе Миклашевском.

- Что за дело? - спросил Шумилов, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри уже все клокотало.

Карелин развернул бумаги и пододвинул их к хозяину.

- А вот, земля на которой вы стоите, урочище Медвежий Изгиб, была отписана вашему деду в 1741 году под вырубку кедрового леса. Вырубка не состоялась и что там случилось, бог весть, пурга, что ли, людей погубила... Но дед ваш, Федор Петрович старший, не стал отчаиваться. Он пошел к воеводе Миклашевскому и попросил переписать бумаги, мол, не лес валить буду, а орех добывать, и Миклашевский согласился. А согласился он потому, что ваш дед ссудил ему три тысячи рублей на постройку дома. Это называется взятка, Федор Петрович, и в 1744 году, когда Миклашевского отдали под суд и сослали в Березов, всплыли и эти бумаги. Их подшили к делу... и забыли. На пятьдесят три года.

Шумилов схватил бумаги, перечитал. Чернила поблекли, но слова были ясны. Приписка на полях, сделанная канцелярским почерком: «Земля в урочище Медвежий Изгиб купцом Шумиловым якобы для орехового промысла испрашиваемая, изначально под вырубку дана была. А вырубка не состоялась, документы о переводе на ореховый промысел подписаны, но путем получения взятки. Миклашевский три тысячи рублей за то получил, и далее под суд поставлен».

Он поднял глаза на Карелина. Лицо его было бледным, но спокойным, поддаваться на провокацию Шумилов явно не собирался.

- И что вы хотите, Алексей Григорьевич? - спросил он глухо. - Гласности? Скандала? Чтобы мою семью вышвырнули из этого дома, который строил еще мой отец? Чтобы дочери мои пошли по миру?

Карелин откинулся на спинку стула, погладил бакенбарды, усмехнулся, но не зло, а даже ласково, как усмеваются кошки, заигравшиеся с мышью.

- Зачем же скандал, Федор Петрович, Боже упаси!? Я человек деловой, и я не враг вам. Я мог бы просто... сделать вид, что ничего не видел. Бумаги лягут обратно в архив, и более того, поправка о взятке вообще может исчезнуть. Но есть одно «но».

Он перевел взгляд на Анну Григорьевну, помолчал некоторое время и глаза его вдруг стали масляными, липкими, теплыми, как у удава перед броском.

- Я признаюсь честно, что хотел просить у вас денег за свое молчание. Да, не смотрите на меня так, обыкновенная взятка, и все было бы забыто. Но теперь кое-что поменялось. Теперь я хочу, чтобы вы... уговорили вашу жену. Ну понимаете? Всего-то на одну ночь. Она мне отдаст то, что должна была отдать еще в гимназии, а я забуду об этих бумагах. Навсегда. И земля останется вашей.

Он сказал это просто, буднично, будто речь шла о продаже лошади или обмене амбара. И в этой простоте было что-то более страшное, чем любая угроза.

Шумилов резко встал. Стул его отлетел назад, ударил спинкой о стену. Лицо его налилось кровью, кулаки сжались, жилы на шее вздулись тугими канатами.

- Ты... - зашипел он, и голос его сорвался на хрип. - Ты, чиновничья крыса, смеешь предлагать мне такое? В моем доме, при моей жене?

Он шагнул к Карелину, и тот, хоть и был человеком жилистым, попятился назад, ведь что-то звериное, дикое проснулось в Федоре Петровиче, то самое, что заставляло кедровые деревья склоняться как перед ураганом.

- Я вызываю тебя, - сказал Шумилов, и каждое слово его было как удар топора. - Сегодняшним вечером у реки, с десяти шагов, пистолеты мои. Свидетели мой Степан Ильич и твой писарек. И не смей отказываться, потому что, если откажешься, я сам тебя прямо сейчас зарежу, как свинью, и зарою в кедровой роще. Тайга большая, место найдется.

Карелин побледнел. Он, видно, не ожидал такой решительности, губы его задрожали, он открыл рот, чтобы ответить, но не успел.

- Нет, - сказала Анна Григорьевна.

Голос ее был тихим, но невероятно твердым, и оба мужчины обернулись к ней.

Она стояла у окна, бледная, с прямой спиной, с лицом, на котором не читалось ни страха, ни гнева, ни отвращения. Только страшное, неживое спокойствие человека, который принял решение, от которого уже нет пути назад.

- Что нет!? - переспросил Шумилов, не веря своим ушам.

- Нет дуэли, - сказала она. - Нет убийства. Не в моем доме, не при наших детях.

Она повернулась к Карелину. Тот стоял, прижавшись спиной к стене, и в глазах его уже читалась не только трусость, но и надежда на спасение. Он решил, что она согласна.

- Алексей Григорьевич, - сказала она спокойно, почти ласково. - Вы приехали с предложением. Я принимаю его. Приезжайте через неделю, к тому времени я все решу, и все обустрою.

- Анна! - крикнул Шумилов, бросаясь к ней. - Ты с ума сошла! Ты не сделаешь этого!

Она подняла руку, и он замер. Такого в ней не было никогда. Эта тихая, печальная женщина, которая играла на расстроенном клавесине и пекла хлеб по утрам, вдруг стала холодной, расчетливой, почти страшной в своей решимости.

- Это мой выбор - проговорила она глядя стеклянным взглядом в окно. - Если таким образом можно спасти наше родовое имение, без крови и потерь, я согласна заплатить такую цену. В конце концов я сама вольна распоряжаться своим телом.

Карелин поклонился, засеменил к двери, бормоча что-то о том, что «будет ждать», что «не ошибся в ее благоразумии», что «все останется в тайне». Дверь за ним закрылась, карета без промедления тронулась, и стук копыт вскоре затих в таежной дали.

Шумилов стоял посреди гостиной, дрожащий, сжавший кулаки так, что ногти впились в ладони до крови.

- Как ты могла, - прошептал он. — Как ты могла... согласиться? Ты моя жена, мать моих дочерей. Ты...

- Феденька, - сказала она тихо, подходя к нему и беря его сжатые кулаки в свои холодные ладони. - Ты не понял, я согласилась не для того, чтобы лечь с ним в постель, приняв его условия.

Он поднял на нее глаза. В них были растерянность, боль, ярость - все сразу.

- А для чего же?

Анна Григорьевна оглянулась на дверь, та была заперта. Потом подвела мужа к окну, за которым чернели кедровые деревья, и сказала шепотом, почти неслышным:

- Тайга большая, Федя, очень большая. А мы живем здесь не первый год, и знаем каждую тропинку, каждый овраг, каждое место, где медведь об березу спину чешет. А он городской человек, мало ли что с ним может случиться по дороге сюда. В тайге всякое происходит.

Шумилов смотрел на нее, не веря своим ушам. Эта тихая, бледная женщина с печальными глазами говорила о смерти с таким спокойствием, будто речь шла о том, как засолить грибы на зиму.

- Ты предлагаешь... убить его? - выдохнул он.

- Я предлагаю, - ответила она ледяным тоном, - защитить нашу семью. Нашу землю, наших дочерей. Мы просто подготовимся, на всякий случай. Думается мне он трусил, и не вернется сюда больше. Но если все же придет, значит, он сам выбрал свою судьбу. Тайга примет его, а мы... мы ничего не видели, ничего не знаем. Его никто не звал, и не приглашал более. Тайга большая, Феденька, и она умеет хранить тайны.

Шумилов медленно разжал кулаки и осторожно обнял жену, будто она могла рассыпаться от прикосновения, и прошептал:

- Неделя, говоришь? Стало быть подготовимся?

- Подготовимся, родной. - Ответила она, уткнувшись ему в плечо. - У нас есть Ермолай, который знает тайгу как свои пять пальцев. Есть солдат Степан Ильич, который не раз смотрел смерти в глаза. Есть тайга, которая все спишет, и все простит. И есть я, Федя. Я не отдамся никому, кроме тебя, и до дуэли тебя не допущу, я не могу так рисковать.

Федор Петрович был в крайней степени удивлен и поражен тому, с какой стороны раскрылась его милая, нежная супруга. Такого он точно не ждал, и подумать о таком даже не мог.

Три дня прошло в тягостных раздумьях. Шумилов почти не спал ночами, ворочался с боку на бок, вставал, подходил к окну, смотрел на черные силуэты кедров. Анна Григорьевна тоже не смыкая глаз лежала рядом, тихая, с открытыми глазами, и в голове ее, как мельничные жернова, перемалывались одни и те же вопросы: как? Когда? И где? Им нужен был надежный план, план, который не оставит следов. Убить человека в тайге дело нехитрое, трудность заключалась в том, чтобы сделать это так, чтобы никто об этом не прознал.

- Если он приедет, - говорил Шумилов, шагая из угла в угол по гостиной, - он приедет не один. У таких, как он, всегда есть при себе писарек, охранник или кучер. В прошлый раз с ним был молодой человек с портфелем. Значит, надо думать и о них.

- А если подкупить? - предложила Анна Григорьевна. - Деньги у нас есть, кому нужны чужие тайны, когда можно получить звонкую монету?

- Подкуп все равно означает, что есть свидетель, - ответил муж, останавливаясь у окна. - Подкупленный может продаться дважды, в первый раз, когда берет деньги, второй раз, когда рассказывает, у кого их взял. Нет, Анна, никого чужого. Только свои, и своих как можно меньше.

Они перебирали варианты, но ни один не виделся им верным. Сначала думали устроить засаду на дороге, подкупить шорцев, они народ молчаливый, и могут согласиться сделать грязную работу. Но потом отказались от этой мысли все по той же причине, что они же впоследствии могут и разболтать о содеянном. Потом думали привлечь к этому делу старого кучера Ермолая и бывшего солдата Степана Ильича. Они были им верны на службе уже много лет. Но затем вновь стали закрадываться сомнения, на сколько верны им будут эти двое, и на сколько далеко готовы будут зайти. Действительно, не получится обойтись одним только убийством Карелина. Ведь с ним все равно кто-то будет в сопровождении, возможно и не один.

Как-то надо было так все обустроить, чтобы ни с какой стороны даже и близко никаких подозрений на Шумиловых лечь не могло. Но как именно это сделать, пока не представлялось вовсе.

На четвертый день после отъезда Карелина, в полдень, когда солнце стояло в зените и тени от кедров были короткими, черными, похожими на пни, Настя подошла к отцу. Она была тихая в последние дни, даже тише обычного. Не бегала по усадьбе, не визжала, открывая ставни, не заглядывала в библиотеку рассматривать картинки. Сидела на крыльце, положив голову на колени, и смотрела в сторону старого кедра, у которого были причудливые корни, похожие на вросшего человека.

- Папенька, - сказала она, дернув его за рукав. - Пойдем со мной.

- Куда, Настенька? - спросил Шумилов, отрываясь от бумаг. Он вновь и вновь перечитывал документы Карелина, ища в них хоть какую-то зацепку, хоть какую-то надежду на спасение. - Мне некогда, дочка.

- Надо, - сказала она твердо, не по-детски, и в ее больших удивленных глазах вдруг появилось что-то такое, от чего у Шумилова пробежал холодок по спине. - Дерево просит, оно давно просит, а я боялась сказать. А теперь нельзя молчать.

- Какое дерево?

- Старое. Которое похоже на дедушку. Оно говорит, папенька. Оно давно со мной говорит, а сегодня сказало: «Приведи хозяина, ему надо услышать».

Шумилов хотел было рассмеяться, ну что за ребячество? Но смех не вышел, слишком серьезным было лицо дочери, слишком настойчивым взгляд. Он вспомнил, как сам когда-то, глянув в глазницы этого ствола, вздрогнул и почувствовал, как волосы встают дыбом. И тогда же ощущение улетучилось, он посчитал его наваждением. А что, если не наваждение?

- Ну пойдем, - подчиняясь воле случая сказал он, откладывая бумаги.

Настя взяла его маленькой, теплой ладошкой за руку, и повела через рощу, мимо амбаров и сушильни, мимо тех мест, где лазаки сбивали шишки. Мужики, видя барина с дочкой,

кланялись, но Шумилов не отвечал, а лишь шел вперед, глядя прямо перед собой, туда, где в глубине рощи чернел старый, непохожий на других кедр.

Они подошли к нему. Дерево стояло, как и прежде огромное, кора покрыта подтеками застывшей смолы, похожими на янтарные слезы. Корни его, вздыбившиеся за полвека, образовали причудливое сплетение, и в этом сплетении, если приглядеться, угадывались очертания человеческой фигуры: туловище, прижатое к стволу, руки, вросшие в кору, ноги, ушедшие в землю по колено. И в коре два углубления, похожих на глазницы. Пустые, черные, смотрящие куда-то внутрь, в глубь дерева, в глубь времени.

- Прислони ухо, папенька, - сказала Настя тихо. - К корням. Оно тебя слышит, и ты услышишь.

Шумилов помедлил, потом опустился на колени, трава под ногами была сухой и жесткой, пахло смолой и грибами. Он наклонился, прижался ухом к шершавой, потрескавшейся коре одного из корней, который был похож на плечо вросшего человека, и услышал.

Сначала непонятный, однообразный и далекий гул, будто внутри дерева течет, как подземный ручей. Потом голос, шипящий, картавый, с присвистом, будто говоривший давно не разжимал губ и слова протискивались сквозь щель в пересохшем горле.

- Слысыс, хозяин? - спросил голос. - Слысыс того, кто здесь раньсе тебя был?

Шумилов хотел отпрянуть, но не смог, тело не слушалось. Он был прикован к корню, как тот, кто врос в него полвека назад.

- Не бойся, - прошипел голос. - Я не враг тебе. Я был врагом этих кедров давным-давно, и они меня пленили. Теперь я их голос, я память. А ты их хозяин. Ты сторож и благодетель. Ты и твоя семья.

- Кто ты? - выдохнул Шумилов, и голос его прозвучал тонко и испуганно, так, что он сам себя не узнал.

- Я тот, кто присол рубить эти кедры много зим тому назад, а в итоге стал их частью. Имя мое Тихон. Тихон Зуй.

Шумилов замер. Сердце его колотилось где-то в горле, в висках, в кончиках пальцев.

- Я знаю, - продолжал голос, и в нем зазвучала человеческая боль и тоска, - какая напасть присла к твоему дому. Подлый целовек хочет изгнать тебя и твою зену с этой земли. Он дерзит в руках бумаги, которые страшнее топора. И он хочет не землю, он хочет твою жену. Мы видим, мы все видим, и все слысим. Мы все ведаем.

- Что мне делать? - прошептал Шумилов. - Как защитить семью? Я не хочу убивать, не хочу крови. Но и подложить ее под него... просто не могу.

- И не надо, - сказал голос. - Не надо крови, не надо топора, не надо яда. Кедр сделает все сам.

Шумилов хотел спросить как? Но голос зашипел громче, настойчивее, и в нем зазвучала власть, которой невозможно было перечить.

- Слушай, хозяин, когда подлый целовек вернется - а он вернется, так пусть твоя зена приведет его сюда, к этому кедру. Сказы ей, пусть позовет его на прогулку, пусть заманит сюда. Прельсением и сладостными рецами пусть заставит его приклониться сюда, к этому стволу. И тогда мы его заберем.

- Заберете? - переспросил Шумилов. - То есть он умрет?

- Нет, - ответил голос, и в нем была слышна шепелявая усмешка. - Не умрет тело, тело останется зывое, дысасее и ходясее. Оно уедет из твоей усадьбы, вернется в город, и никто по насялу не заметит подмены. Кедры заберут подлого целовека на исправление, а в его тело поместится Тихон Зуй. Тихон Зуй узе отбыл свой срок, и его мозно отпустить. Тело живет, знацит целовек жив.

Шумилов оторвался от корня. Сердце его выло. В голове кружилось.

- Это... это колдовство, - прошептал он. - Это демонизм!

Ответом на это было молчание. Шумилов поднял глаза на Настю, девочка стояла в двух шагах, смотрела на отца, и в ее больших, удивленных глазах не было ни страха, ни удивления. Только спокойствие, такое спокойствие, которое бывает у тех, кто знает больше, чем говорит.

- Ты слышал, папенька? - спросила она тихо.

- Слышал, - ответил он, поднимаясь с колен. Ноги его дрожали. - Слышал.

- Ты сделаешь, как дерево сказало?

Шумилов посмотрел на старый кедр. На его бархатную, смоляную кору, на глазницы, которые смотрели теперь не в глубину дерева, а прямо на него.

- Сделаю, - ответил он.

Вечером того же дня Шумилов рассказал все Анне Григорьевне. Она слушала молча, не перебивая, только бледнела все больше и больше, а когда он закончил, долго сидела, глядя в окно на темнеющие кедровые деревья.

- Ты веришь в это? - спросила она наконец.

- Не знаю, - ответил он честно. - Но у нас нет другого плана. Либо мы берем грех на душу, совершаем убийство, проливаем кровь, а это свидетели и риск. Либо мы... доверяемся тайге. Она здесь старше нас, и она, кажется, на нашей стороне.

Анна Григорьевна подошла к мужу, положила голову ему на плечо:

- Ты предлагаешь мне заманить Карелина к этому дереву? Уговорить его прислониться к его стволу?

- Да.

- А если ничего не произойдет? Или если он откажется, заподозрит неладное?

Шумилов обнял ее, прижал к себе.

- Тогда будем поступать исходя из обстоятельств. Я буду вооружен, и буду находиться неподалеку. Если вдруг ты закричишь и позовешь, то я сразу приду к тебе на помощь, а дальше уже будь что будет.

Она молчала долго, потом кивнула раз, другой, потом третий, будто убеждая саму себя.

- Хорошо, - сказала она твердо. - Я сделаю это, приведу его к кедру. И пусть кедр забирает его душу. - Она нервно трижды перекрестилась, а потом добавила: - Посмотрим, что из этого выйдет.

Ровно через неделю, в урочный час, на дороге снова показалась карета. Анна Григорьевна стояла у крыльца одна, без мужа, без дочерей, даже слуги и рабочие в этот день были сосланы подальше. На ней было не новое платье небесно – лазурного оттенка, напоминавшее ей гимназические годы, ледоход на Ангаре и мальчишеские записки.

Карелин вылез из кареты неуклюже, путаясь в собственных ногах, пыхтя и отводя глаза. Всю неделю он не спал, и это было видно по красным, воспаленным векам, по нервной дрожи пальцев, и по тому, как он то и дело поправлял жабо, будто оно душило его.

- Анна Григорьевна... - начал он и запнулся, не найдя слов.

- Алексей Григорьевич, - ответила она ровно, холодно, но в этом холоде было что-то манящее и неприкосновенное. - Вы приехали, я этого ждала.

Он шагнул к ней, протянул руки, но она отступила на шаг чуть кокетливо, как учили когда-то в гимназии на уроках танцев.

- Пойдемте за мной, - сказала она тихо.

Карелин обернулся к карете. Молодой писарь с бледным, испытанным лицом уже вылез и стоял у дверцы, переминаясь с ноги на ногу. Кучер, старый, седой, правил лошадей и делал вид, что ничего не слышит.

- Через два часа, - громко сказал Карелин, и голос его скрипнул, как несмазанная дверь.
- Если я не вернусь... поезжайте в город и заявите о моей пропаже, понятно вам?

Писарь кивнул, побледнев еще больше. Анна Григорьевна улыбнулась такой улыбкой, которая обещает все, что только можно вообразить.

- Не бойтесь, Алексей Григорьевич, - сказала она, беря его под руку. - С вами ничего не случится, вы получите то, что требуете.

Тропа вилась между стволами, узкая, едва заметная, усыпанная прошлогодними шишками и рыжей хвоей. Анна Григорьевна шла впереди, и Карелин жадно смотрел на ее спину, на то, как синее платье облегает талию, как из-под чепца выбивается русский локон, как она ступает легко, едва касаясь земли.

- Вы не представляете, - заговорил он, догоняя, - как я ждал все это время. Я не спал, Анна Григорьевна. Не спал, и каждую ночь я воображал вас. Ваши глаза, губы. Вашу шею...

- Он запнулся, сглотнул. - Я мечтал целовать вашу шею, вот здесь, на изгибе. Я представлял, как вы откинете голову, как закроете глаза...

Анна Григорьевна остановилась, обернулась, посмотрела ему прямо в глаза долгим, тягучим взглядом, от которого у него подкосились колени.

- Я согласна, - сказала она. - Но не в доме, там мое брачное ложе. Там муж и дочери, они сейчас вместе занимаются французским. Я не могу рисковать своей честью, да и вашей тоже.

- Тогда где? - выдохнул он, почти задыхаясь.

Она повела рукой в глубь рощи, туда, где чернел огромный, непохожий на других кедр.

- Там, под старым кедром. Он станет свидетелем что мы оба выполнили части нашего уговора.

- Согласен, Mon sheer, - сказал он. - Ведите.

Они вышли на небольшую поляну, где старый кедр стоял, как часовой, отделенный от остальной рощи. Здесь было тихо, и даже ветер, гулявший по верхушкам, сюда не залетал. Пахло смолой, прелыми листьями и еще чем-то древним, тяжелым и могильным.

Анна Григорьевна расстелила на земле у ствола темно-зеленый, шерстяной плед, пахнувший лавандой. Карелин стоял рядом, переминался, не зная, куда деть руки.

- Садитесь, - сказала она, указывая на место у корней - туда, где сплетение корней образовывало подобие кресла, мягкого и удобного, если опереться спиной. Сядьте и смотрите на меня, я буду танцевать. Не торопитесь, у нас есть время.

Он сел, прислонившись спиной к шершавой коре, и сразу почувствовал, как по телу разливается тепло от самого дерева, будто внутри него тлел вековечный, невидимый огонь.

- Я сейчас... - начал он, пытаясь встать, но Анна Григорьевна приложила палец к губам.

- Тихо, - сказала она. - Смотрите же.

Она медленно расстегнула верхнюю пуговицу платья, потом вторую. Карелин замер, глядя, как открывается ее белая, нежная шея, с едва заметной голубой жилкой, бьющейся в такт сердцу. Затем круглые и гладкие плечи, чуть тронутые загаром, потому что она часто ходила по роще без шляпки.

- Снимите чепец, - попросил он хрипло. - Я хочу видеть ваши волосы. Помните, в гимназии... вы ходили с косой...

Она сняла чепец, тряхнула головой, и русые волосы рассыпались по плечам мягкой волной. Карелин застонал тихо, почти беззвучно, и его пальцы впились в кору, на которой он сидел.

- Еще, - прошептал он. - Пожалуйста, еще.

Она расстегнула еще одну пуговицу, а за ней еще. Платье сползло, открывая тонкую сорочку, сквозь которую угадывалась упругая грудь.

- Подойдите ко мне, - попросил он, уже не владея собой. - Дайте я поцелую вас...

- Нет, - сказала она твердо. - Вы сидите, я танцую, так мы договаривались. Смотрите и наблюдайте, ведь такого больше никогда уже не будет.

А внутри у нее уже страх упал тяжелой гирей вниз живота. Почему же ничего не происходит? И почему она вдруг поверила в какую-то небылицу? Сейчас ей придется звать на помощь мужа, он застрелит Карелина, и его будут судить. Их семья будет разрушена, а дом отнимут.

Она подняла руки, потянулась, и сорочка задралась, открывая гладкие и округлые колени с ямочками, которые Карелин запомнил еще в гимназии, когда она поднималась по лестнице. Он глядел, не отрываясь, и чувствовал, как по всему телу разливается чужой жар, словно кто-то изнутри подогревал его кровь.

- Анна... - прошептал он, и голос его стал чужим, сиплым, с присвистом. - Анна, что со мной? Мне... мне трудно дышать...

Он хотел встать, но не смог. Спина приросла к коре, руки прилипли к корням, ноги налились свинцовой тяжестью. Он хотел закричать, но из горла вырвался только тонкий, жалобный всхлип.

- Что... что вы со мной сделали? - прохрипел он, глядя, как Анна Григорьевна отступает на шаг, поправляет сорочку и спокойно надевает, и застегивает платье, будто ничего не случилось. - Я не могу двинуться!

- Это не я, - сказала она, глядя на него теперь холодно, без тени той страсти, что играла в ее глазах минуту назад. - Это ваша похоть с вами сотворила злую шутку.

Карелин дернулся, попытался вырваться и вдруг почувствовал, как корни сжимают его тело, обвивают ноги, талию, грудь, впиваются в спину тысячами мельчайших, острых игл. Он тонко взвизгнул, и повалился лицом вниз, на плед, на лавандовый запах, на сухую, жесткую траву.

Тело его билось в конвульсиях, корчило и хрипело несколько секунд, а Анна Григорьевна крестилась, и читала молитву, которой ее учила старая няня: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое...»

Неожиданно все кончилось. Карелин встал медленно и неуклюже, как кукла, которую дергают за нитки. Лицо его было бледным, глаза открытыми, но невидящими. Он повернул голову, и Анна Григорьевна увидела, как его губы шевелятся, пытаясь что-то сказать.

- Хозяйка, - выдохнул он наконец, и голос его был не его - шипящий, картавый, с присвистом. - Молодессс, управилась.

Анна Григорьевна отступила на шаг и прижала руки к груди.

- Так это правда? - спросила она шепотом. - Ты теперь некий Тихон?

- Я, - ответил он, и его губы губами Карелина сложились в кривую, страшную улыбку. — Я теперь здесь, в этом теле. А тот, кто хотел тебя, хозяйка... он теперь там, в кедре. Присла его очередь зотосения.

Он сделал шаг, затем другой, привыкая к новым ногам, к новым рукам и к новой, незнакомой плоти. Неуклюже поклонился, и пошел прочь из рощи в ту сторону, где была его карета. Анна молча пошла за ним, но через несколько шагов мельком оглянулась.

Быть может ей показалось, но на стволе, там, где недавно сидел Карелин, появилось бледное и испуганное лицо с открытым ртом и глазами, полными ужаса. Оно еще не обросло вековой корой, еще не затянулось смолой, но уже не могло кричать. Только смотрело на нее и на небо, да на тайгу, которая приняла его навсегда.

Писарь и кучер дождались своего господина. Он вышел из рощи спустя пол часа, взъерошенный и бледный. Садясь в карету, он протянул Анне Григорьевне кожаный портфель:

- Бумаги в порядке! Все! Можете не беспокоиться! - шепеляво объявил он.

Карета скрылась в облаке пыли, и Анна Григорьевна проводила ее взглядом, потом взглянула на портфель. Развязала тесемки, внутри лежали бумаги: и старые, времен Миклашевского, и новые, с печатями городского магистрата, и еще какие-то, которых она не поняла. Она сло-

жила все обратно, и пошла в дом, где Федор Петрович сидел у окна с ружьем на коленях на тот случай, если бы что-то пошло не так.

- Все кончено, - сказала она, опускаясь на стул. - Он уехал, бумаги у нас. Тебе нужно взглянуть, но мне думается, что с ними теперь полный порядок.

Шумилов отставил ружье, подошел к жене и обнял.

- Ты такая смелая женщина, - сказал он. — Я восхищен! Я не знал, что ты такая!

- Я сама не знала, - ответила она, положив щеку в его открытую ладонь, и слезы, одна за одной, вытекали горячими бусинками из ее глаз.

А за окном шумели кедровые. Им не было дела до людских дел, до подлых желаний, до чистых побед и грязных поражений. Они стояли так же, как и до этого стояли годами: черные, смоляные, вечные.

Тайга хранит свои тайны, и будет хранить вечно.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.